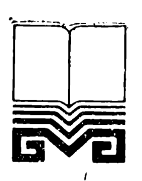
БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОГО РОМАНА
„ЗЕМЛЯ УЛЫПА"



Владимир САДАЙ

ЗВЕЗДЫ СХОДЯТ В ТАБОР

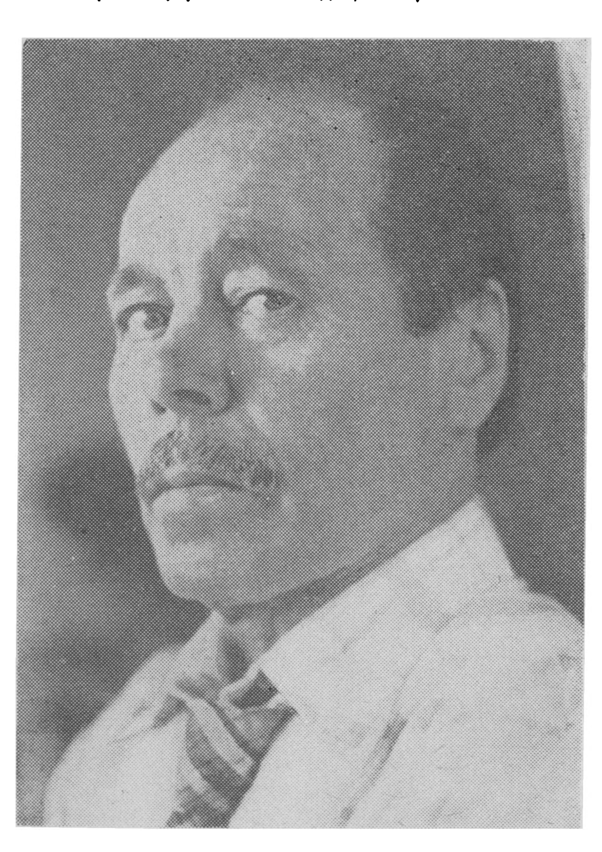


БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОГО РОМАНА
„ЗЕМЛЯ УЛЫПА“

Владимир САДАЙ

Владимир Садай — чувашский прозаик, автор нескольких романов, повестей, сборников рассказов, лауреат Литературной премии Министерства Обороны СССР.

На русском языке изданы роман «Летчики» (Чувашское государственное издательство, 1955, 1958), «Повесть о крылатых друзьях» (Воениздат, 1969, 1973), «Запах тумана» («Советский писатель», 1969), «Повести о земляках моих» («Современник», 1973), «Повести о моих земляках» («Советская Россия», 1981), «Звезды над Табором» (Чувашкнигоиздат, 1975).



ЗВЕЗДЫ СХОДЯТ В ТАБОР

РОМАН

Перевод с чувашского
Льва Парфенова

Чебоксары
Чувашское книжное издательство
1984

ББК 83.3 Чув
С 14

Садай В. А.

С 14 Звезды сходят в Табор. Роман. 2 изд.— Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1984.— 208 с.

90 к. 2 з-д. 20000 экз.

В предлагаемом читателю романе писатель рассказывает о людях чувашского села, их взаимоотношениях, их прошлом и настоящем, связанном с повседневной жизнью колхоза, его трудностями и достижениями.

ББК83.3Чув

$С \frac{4702650000-061}{М136(03)-84}$ 68—84

Дорогим землякам моим — труженикам сел и деревень прекрасного, наикрасивейшего Ульяновского, Татарского, Чувашского Поволжья посвящаю.

АВТОР.

Глава первая

Получили горючее для тракторов, и машина уехала. Якку остался на станции. Агроном Яснов — он пока за председателя — поручил Якку поинтересоваться шлаком. Колхозу шлак требовался для фундаментов под мельницу и крупорушку. Вроде бы отброс, валяется никому не нужный на путях, на откосах железнодорожной насыпи. На деле же оказалось: ни купить, ни взять задаром тот шлак нельзя. Принадлежит он нефтебазе; из него собираются соорудить новое здание конторы, а также расширить заправочный пункт. Снабженец нефтебазы, к которому было сунулся Якку, понес такую околесицу насчет того, что «конечно, в том случае, если бы, то можно бы, а так — довольно трудно», что стало ясно: хитрый и пронырливый этот мужик просто ждет, когда для дальнейших переговоров его пригласят в станционный буфет. Помимо того что Якку не располагал достаточными средствами, он не был способен на такого рода дела по характеру и по малому опыту жизни. Потому, махнув рукой на снабженца, вернулся на станцию, купил в буфете пачку папирос «Байкал», мягких конфет для больной матери и вышел на перрон.

Здесь было совершенно пусто. Теплый апрельский ветер шевелил валявшийся на перроне обрывок бумаги. Якку подумал, что на станции ему, пожалуй, делать больше нечего и пора возвращаться в село. Но тут из-за лесополосы, что степою протянулась вдоль Черного поля, выплыли клубы дыма и послышался далекий паровозный гудок.

Судя по времени, это подходил скорый поезд. Якку вскрыл пачку, закурил и уселся на длинную скамью, что

протянулась вдоль зеленого штакетника, которым был огорожен палисадник перед низким зданием вокзала.

Железную дорогу через эти места провели лет пятнадцать назад, когда Якку только-только начал ходить в школу. Строительству предшествовали изыскания — на полях появились нездешние люди с какими-то машинками на треногах, притягательно сверкавшими стеклом и медью. Узнав, что здесь пройдет железная дорога, ребятня села Табор возликовала. Невеликое, затерявшееся среди пологих холмов волжского правобережья село в их глазах сделалось вдруг самым важным населенным пунктом района. И сами они, юные обитатели этого населенного пункта, почувствовали себя на две головы выше сверстников из окрестных сел и деревень. Ибо с постройкой железной дороги Табор получал прямое сообщение с самой Москвой. А этого, по их ребячьим понятиям, было вполне достаточно, чтобы любой из них стал, если захочет, прославленным полководцем, знаменитым писателем или великим мореплавателем.

А сам поезд, который они видели только на картинках да на экране кинопередвижки,— каких только фантастических представлений не породил в их ребячьем уме! Гигант паровоз тащил за собою состав длиною в несколько километров. Грохот его, если приложиться ухом к рельсу, можно услышать верст за сто. А гудок у паровоза такой силы, что нельзя стоять рядом — прорвет барабанные перепонки, как от мощного орудийного залпа.

Но более всего возвышало юных таборцев в собственных глазах то обстоятельство, что с постройкой железной дороги они получат возможность без особых хлопот попасть в любую точку Советского Союза. Конечно, ребятам из окрестных деревень тоже не заказаны железнодорожные путешествия, но им прежде пешком пришлось бы добираться до Табора, а оно хлопотно...

С той поры минуло пятнадцать лет, Якку стал взрослым человеком, а все его путешествия по железной дороге были только до областного центра. В армию его не взяли, потому что он был единственным кормильцем в семье. А куда еще и за какой надобностью ехать? Есть, впрочем, в их селе предприимчивые люди — Мигиш Купцов да Новый Прухха. Эти железную дорогу для наживы приспособили: ездят на юг торговать картошкой. Там они ее в десять раз дороже продают.

Спекулировать на нехватках, на людской нужде — та-

кое не по душе Якку. А вот просто мир посмотреть — он бы не против. Да еще как не против-то! Потому-то, наверное, как увидит поезд, так и тянет его вскочить на подножку — прощай Табор! Хоть бы на время уехать, года на два, на три... На какую-нибудь комсомольскую стройку. То-то хорошо бы. Да еще вместе с Марись...

Только куда же поедешь от больной матери? Вот и торчи на колхозном складе, подсчитывай гвозди да кирпичи, доски да бревна... Председатель твердит Якку: работа нужная. Знамо, нужная. Тем более что охотников на нее днем с огнем не сыщешь. А все потому, что работа эта — стариковская. Другие, посмотришь, на тракторах, на машинах, а то — с мастерком в руках. Оглянется человек на прожитый день — гектары вспаханной земли, тонны перевезенных грузов, возведенные стены. А тут оглядывайся не оглядывайся — те же бревна, кирпичи, тес... Как лежали, так и лежат на своих местах. Работа нужная, что и говорить...

Не лучше дела и у Марись, может, даже хуже. Якку хоть сам себе хозяин, всегда при своем складе. У Марись не то. Ее отец Мирон Платоныч Агафонов, сколько Якку себя помнит, состоит в должности председателя колхоза. По натуре своей человек он настойчивый, крутой, властный. Многие годы пребывания на председательском посту отнюдь не смягчили его характера. Когда дочь окончила десятилетку, он разработал для нее жесткую программу: два года она должна проработать в колхозе, затем поступить в сельскохозяйственный вуз и выучиться на агронома.

Два года Марись работала в поле, только в поле — Мирон Платоныч решил, что прежде чем стать агрономом, она на себе должна испытать, какой ценой достается хлеб. У бедной Марись от дергания сорняков и скирдования соломы руки за лето покрывались трещинами, грубели так, что никакие мази не помогали. Зимою же деспот-отец заставлял ее корпеть над книгами по агрономии, готовиться к экзаменам в институт... Если увидишься с нею за зиму десяток разков — и то хорошо. Якку собирался в глаза выложить Мирону Платонычу все, что он думает о его деспотизме, но так и не собрался. Может, потому, что чувствовал: в действиях председателя нет и намека на самодурство, все они подчинены исключительно интересам дела. Но, конечно, Марись, а значит, и Якку от этого было не легче.

Вообще-то недовольство собственным положением шло у Якку от давних жизненных невзгод, которые осознанно воспринимать как невзгоды он начал совсем недавно. В отроческие годы он мечтал стать строителем. Целые тетради заполнял рисунками зданий всевозможных архитектурных стилей. Срисовывал из книг, из учебников, из газет. Отец поощрял его увлечение, хотел увидать сына инженером, но, искалеченный и больной после фронта, не дожил даже до того дня, когда Якку закончил семилетку. Школу пришлось оставить, надо было зарабатывать на жизнь. Сперва Якку определили возчиком, затем послали в плотничью бригаду. Но подростку ворочать бревна было не под силу, и председатель временно назначил его завскладом стройматериалов. Уже не первый и не второй год исполнял Якку эту «временную» должность, а перемен не предвиделось. Будь бы отец жив, тогда, может, Якку кончал бы теперь строительный институт. Или техникум. А так — что? Специалист... коровам хвосты крутить.

Вот в селе Сто Родников дело по-другому поставлено. Там жизнь — ну прямо как в городе. Во-первых, электрическое освещение, своя электростанция. Во-вторых, колхоз имеет кирпичный и молочный заводы, крупорушку, мельницу, льночесалку, пенькозавод, несколько пилорам. Летом колхозники работают как крестьяне, зимой — как рабочие. В одной строительной бригаде около ста человек народу. Два дипломированных инженера да несколько техников. Работают курсы шоферов и животноводов. Есть школа рабочей молодежи. Кто в свое время не доучился, кончает среднюю школу без отрыва от производства и — в город, в институты. Вот откуда они, дипломированные-то инженеры! Конечно, когда специалистов — хоть пруд пруди, почему и не расти колхозу? Эх, да что говорить! Необразованному человеку в деревне сейчас одна дорожка: навоз по полю разбрасывать. Да вот разве еще складом заведовать... Э, нет, пожалуй, только сидеть на складе и остается. В Ста Родниках да и в Ольховом Озере навоз теперь, слышно, разбрасывают машинами. Это в Таборе только никаких сдвигов в сторону современности. Как жили при керосиновой лампе, так с нею и живут. Как был десяток образованных людей — восемь школьных учителей, фельдшер да заместитель председателя по технике,— так тот же десяток и остался. Больше-то и не набрать, еким-меким! [1] Те, кто кончает десяти-

[1] Соответствует русскому «елки-палки».

летку в Ста Родниках, больше в Табор не возвращаются — делать им тут вроде нечего. Сверстники Якку и парни постарше, как правило, имели за плечами семь, а то и шесть классов. С таким багажом в большие специалисты мудрено выйти, все же некоторым повезло: стали механизаторами. Другие ходили на работу, куда пошлют. Третьи, подобно Якку, занимали «штатные» должности. Палька, парень — косая сажень в плечах,— ныне сторожем на пасеке. Федор — руками подковы гнет — состоит в шорниках. А один чудак, Иваш,— тоже ни силой, ни умом не обделен — нанялся в сельпо собирать вторсырье.

Можно ли так растрачивать молодые годы! Жить в полудреме? Словно птица, с возрастом почему-то не научившаяся летать. Правда, среди птиц ничего подобного не бывает, только царь природы человек может себе этакую роскошь позволить... Хотя... человек и человечество тут ни при чем. Все дело в их, таборской, неустроенности. Молодежь страны распахивает целину, строит черт те где, за Полярным кругом либо в таежной глухомани, города, заводы, электростанции, а таборская молодежь довольствуется выпалыванием сорняков, скирдованием соломы, как Марись, либо собиранием старого тряпья, ржавых чайников, как Иваш, либо сидением на складе, как он, Якку Урнекеев...

Эти мысли, разъедающие душу, портящие настроение, в последнее время все чаще посещали Якку, и он досадовал на себя: ну что расстраиваться попусту? И сейчас он в сердцах швырнул окурок и раздавил носком сапога.

Взглянул вверх, зажмурился от солнца. Хорошо, тепло. Неприятных дум словно и не бывало... И вот странно: лишь избавился от них — сразу услышал песню жаворонка, что лилась сверху вместе с теплым потоком света. Вот птица,— целый день в воздухе, целый день поет. И как только не устанет, еким-меким!

Дружная в этом году весна. Правда, сев немного запаздывает — прошли сильные дожди и приходится ждать, когда подсохнет земля. Но при таком тепле ждать долго не придется.

За путями свежо до бархатистой нежности зеленело просторное поле озими, правее легла широкая полоса черного пара, а за нею — опять озимые. Дальние поля виделись неотчетливо, как бы через толщу прозрачной струя-

щейся воды. Оттуда наносило теплые волны испарений. Вдыхая их сладковато приторный, пьянящий запах, Якку подумал, что, пожалуй, и прав председатель Мирон Платоныч, который из тысяч полезных деяний, на какие способен человек, превыше всего ставит четыре: пахать, сеять, жать и молотить. Недаром любит повторять Мирон Платоныч: «Весь род людской на хлебе держится». Но ведь и то правда, что не хлебом единым жив человек. К тому же: это вот — на солнышке сидеть, покуривая, да поля обозревать — приятно, а в земле копаться, хлеб выращивать,— ой как трудно! Надо одержимым быть, как Мирон Платоныч... Или этим... фанатиком,— вот!

Из-за лесополосы показался пыхающий дымом зеленый паровоз, и Якку встал со скамейки. Не мог он сидеть, когда подходил поезд. Почему,— он не сумел бы, пожалуй, объяснить. Скорее всего, из чувства восхищения, уважения к этой сверкающей красивыми алыми колесами громадине, которое осталось у него с детских лет.

Поезд быстро приближался. Вот он миновал границу станции, погромыхивая на стрелках, начал замедлять ход. Мимо поплыли широкие окна вагонов, открывались двери тамбуров, с грохотом стучали стальные плиты над подножками. Будто судорога пробежала по составу, и он остановился. На перрон начали спрыгивать пассажиры. Хотя какой там перрон... Перед лицом этого сверкающего зеркальными стеклами и никелем поезда продолговатую, покрытую шлаком, незаасфальтированную площадку язык не поворачивается назвать перроном. Якку вспомнились на миг давнишние мальчишеские представления о том, что железная дорога в корне переменит жизнь юных таборцев, словно по щучьему велению сделает их людьми знаменитыми на всю страну. Что ж, вот железная дорога, вот блестящий нарядный поезд... Но останавливается он здесь около груды шлака, именуемой перроном... И сам Якку вроде этого шлака... Выполняет какую-то маловажную обязанность — и ладно, и никому до него нет дела. Мысль не содержала горечи или сожаления. Было только удивительно: до чего же далека реальная жизнь от детских представлений.

Якку решил взглянуть, нет ли среди приехавших знакомых, и зашагал к хвосту поезда.

В середине состава он нос к носу столкнулся с молодым человеком в зеленой шляпе, с пальто, переброшенным через правую руку, и с чемоданом — в левой. От столкно-

вения шляпа свалилась, и молодой человек ловко подхватил ее на лету чуть ли не у самой земли.

— Хо! Да никак сам Якку! — воскликнул он, распрямляясь и водружая шляпу на прежнее место.— Якку-макку, ей-богу!

Он поставил чемодан и протянул Якку руку.

— Э, да ты... ты...— начиная узнавать парня и от удивления все выше и выше задирая брови, забормотал Якку,— ты... значит... Авраам Линкольн, еким-меким!

— Он самый!

Оба расхохотались, истово тряся друг другу руки. Перед Якку был Аврам Линьков, друг детства, одногодок. В школе прозвали его Авраамом Линкольном—по созвучию.

— Вот ведь... Имя, наверное, забыл, а прозвище помнишь,— сказал Аврам.

— Не беспокойся, имя тоже помню. Ты почему здесь сошел, не доехал до Ста Родников?

— А я к вам в Табор.

— Значит, к деду в гости?

— Да нет, по делу.

— В командировку? Так? Не уполномоченным ли? А то вот некому поторопить с севом.

— И опять не угадал. Учиться к вам еду.

— Ну, брось. Смеешься? У нас — учиться...

— На практику, на практику прибыл, Якку. Ученым зоотехником скоро буду.

— О-о! Ученым! — почти со страхом вымолвил Якку.— Вон тебя куды занесло!

Аврам на заметил иронии, и ему стало неудобно за такое свое «возвышение» перед однокашником.

— Какое там «куды»,— заскромничал он.— Навоз-то на фермах месить... И стоило ради этого пятнадцать лет учиться.

Зачем же пошел в сельскохозяйственный?

Аврам в ответ только рукой махнул.

Лишь сейчас Якку заметил, что поезд ушел, а они одни остались на перроне.

— Что же стоять-то, пойдем,— сказал он.

Поднял чемодан Аврама, и они пошли. С железнодорожной насыпи спустились на дорогу, что, петляя между Заказом и Черным полем, вела к южному концу села. По краям дороги сквозь пожухлую прошлогоднюю траву пробивалась молодая зелень.

— Ну как живете тут? Какие новости? — поинтересовался Аврам.

— Живем тихо, спокойно, без новостей,— улыбнулся Якку.— Сам, чай, знаешь.

К Авраму он испытывал теплое чувство. Все-таки старый товарищ... И приезду его был очень рад. Повеселее будет. А то ведь друзей у Якку, почитай, и нету. Был друг, Иван Калашников, да теперь он на военной службе. С тем, бывало, куда бы ни пришлось — и в кино, и на игры — всегда вместе. Домá их стояли по соседству. Оба росли тихими, жизнь не позволяла слишком-то заноситься, осаживала, и довольно чувствительно. Отец Ивана не вернулся с войны, у Якку вернулся, да вскоре умер. Иван даже с девушкой подружиться не успел. Зато другу Якку помог сблизиться с Марись. Ведь отцу ее, Мирону Платонычу, приходился Иван племянником, а самой Марись — двоюродным братом. По-родственному частенько захаживал к Агафоновым, ну и Якку таскал с собою. Так мало-помалу и стала Марись для Якку светом в окне. У Марись была подружка Тая. Та заглядывалась на Ивана, но парень не замечал ее или делал вид, что не замечал, Угадывалась в его характере какая-то сдержанная суровость...

— Знаю, говоришь? — оживился Аврам.— Ну, вряд ли. Не помогаете же убирать моему деду, как мы, бывало, огурцы с помидорами?

Оба рассмеялись, вспомнив детство.

Лет пятнадцать назад дом Линьковых в Ста Родниках сгорел. Аврама и его старшего брата Михаила мать привезла в Табор, пожить у деда. Мигиш Купцов, дед Аврама, жил через семь дворов от Урнекеевых, ребята быстро познакомились, а там и подружились. Аврам был резвым, живым мальчуганом, заводилой и выдумщиком. Якку с ним было страсть как интересно. Уже через день после своего приезда — дело было ранней весной — Аврам обнаружил за гумнами волчьи следы. Захватив дворнягу Тигра, который ростом чуть превосходил кошку, ребята отправились на охоту. Долго, «взяв след», мотались по полям, пока какой-то встречный не заверил их, что следы принадлежат собаке.

Наступила благодатная пора — лето. Вволю купайся в Свияге, лови рыбу, питайся всяческой растительностью. В те времена фруктов и овощей жители Табора почти не выращивали. Исключение составлял дед Аврама—Мигиш

Купцов. У того на огороде созревали и огурцы, и помидоры, и репа, и морковь. А в иные годы — и арбуз с дыней. Многие из таборских ребят сквозь щели в высоком плетне заглядывались на эти дары природы. Заглядывались и Аврам с Якку, а также и старший брат Аврама — Михаил. Был он, правда, не совсем здоров и в большинстве предприятий двух друзей участия не принимал.

Казалось бы, ну ладно, Якку — он Мигишу Купцову чужой, но Авраму-то с Михаилом зачем бы заглядывать в дедов огород через плетень, когда они могли бы войти в него со двора через калитку? В том-то и дело, что не могли. Дед Мигиш славился своей скупостью. Мальчикам запрещено было входить в огород строго-настрого. Они и не входили, потому что боялись деда. Слышали — сидел он в тюрьме. Не зря на селе о нем говорили: «По дереву и плод». В огороде дед поставил шалаш, в нем и жил до холодов. Нередко и еду ему бабка приносила туда же.

Однажды, когда ребята стояли, приникнув к плетню, и любовались спелыми помидорами, дед ушел в дом. Подождали-подождали Аврам с Якку и решились—перемахнули через плетень. Медлительный Миша остался в проулке. Трясясь от страха, ребята принялись срывать пупырчатые огурцы и красные упругие помидоры, складывать за пазуху. Вдруг со скрипом отворилась калитка, и в огороде появился дед Мигиш. Аврам и Якку метнулись было к плетню.

— Ну куда побегли, чай, не съем,— остановил их спокойный, ласковый голос деда.— Сорвали, так уж отведайте... Айдате в шалаш, там у меня сольцы найдется. А где Миша-то? Зовите уж и его.

Ребята позвали Михаила и, не дождавшись от него ответа, несмело подошли к шалашу. Хоп! В одно мгновение дед сграбастал их обоих. Аврама втолкнул в шалаш, прикрыл дверцу, с Якку рывком спустил штаны. Помидоры и огурцы с тупым дробным стуком посыпались на землю. Увидев воочию такое разорение, дед совсем осатанел: лицо его пошло красными пятнами. «Ну, моли бога, моли бога, моли бога...» — непривычно тонким, как бы обиженным голосом запричитал он и начал одной рукой торопко расстегивать ремень. Готовый взвыть от ужаса Якку, исхитрившись, хватил деда зубами за другую руку. Дед выпустил его на мгновение — этого было достаточно. Якку метнулся к плетню, птицей перелетел через него и помчался что есть духу по проулку. Уже выбежав на

улицу, услышал отчаянные вопли Аврама — дед творил расправу.

— Теперь ребятишек огурцы и помидоры не интересуют,— отсмеявшись, сказал Якку.— Их колхоз выращивает вдоволь. А дед твой нынче пасеку завел. Сад у него — соток десять, яблони, вишня, слива — чего только нет...

— Значит, овощей много выращивает колхоз?

— Хватает. В этом году мой дядя думает расширить огород.

— Это кто же — твой дядя?

— Макар Макарыч Яснов. Парторгом он у нас.

— Он что — агроном по специальности?

— Ну да, только что института не кончал. В совпартшколе учился. Работал в Сибири, потом воевал.

Некоторое время они шли молча. Теперь Аврам свой чемодан нес сам. Он все оглядывался по сторонам, должно быть, припоминая знакомые места, где они бродили в детстве. Вдруг поставил чемодан и закричал, показывая вперед:

— Смотри-ка: смотри! Вот дьявол бесхвостый!..

Навстречу по дороге, задрав голову, длинными прыжками мчался заяц. Шагов за десять от них махнул в сторону и скрылся в кустах.

— Зря ты закричал, еким-меким,— сказал Якку,— прямо в руки шел.

— Так бы он и дался тебе.

— Может, и дался бы... Его ведь кто-то спугнул. Значит, убегая, он смотрел не вперед, а назад — не догоняют ли. Как наш Мирон Платоныч.

— Это ты про Агафонова, что ли? Ему-то от кого бежать?

— От других колхозов, чтоб по урожайности не догнали. Мужик самолюбивый. Однажды вырвался вперед — теперь и скачет, голову задрав, как тот русак: все назад посматривает — не догоняют ли.

— Так его хвалить надо, а ты вроде не доволен.

Сбоку Аврам вопросительно взглянул на Якку.

— Хм, хвалить... Наш Мирон одно твердит: «Весь род людской на хлебе держится, значит, главное в сельском хозяйстве — хлеб». И ни до чего больше ему дела нет. Птицеферму прикрыли. Овец вполовину меньше стало. И все вроде правильно — специализация. Только выходит она нам как-то боком. Вот ваш колхоз «Сто Родников»

продал государству сверх плана шерсть и мясо — получил в премию грузовик, четырехквартирный дом и деньгами порядочно. А мы птицеферму прикрыли, кур пораспродали и куда деньги делись? Так, по мелочам разошлись.

— А ты, Якку, видно, имеешь склонность к экономике,— усмехнулся Аврам.— Только не мешало бы сравнить во что обходится тонна хлеба у вас и в «Ста Родниках».

— Примерно одинаково.

— Слушай! — Аврам остановился, поставил чемодан.— Вот голова, совсем же забыл: мы ведь с Агафоновым-то в одном поезде ехали. Только он в соседнем вагоне. Я с ним разговаривал, говорит: с курорта... Думал доехать с ним до Табора, да тебя вот встретил...

— Приехал, говоришь? — удивился Якку.— А ведь его не ждут. Телеграммы о приезде не получали, и машину на станцию не выслали. Выходит, он пешком...— Оба оглянулись. Дорога позади была пустынна. Прошли еще немного, из-за пологого холма выглянули верхушки ветел и тополей.

— Ну, вот, считай, что пришли,— сказал Якку.

Дорога повернула влево, вдоль заросшей кустарником вырубки — Заказа. Показались первые избы.

— А у вас красиво,— задумчиво проговорил Аврам.— Зелени много. До войны наше село, говорят, тоже зеленым было, да в сорок втором все на дрова спилили.

— А нас выручал Заказ. Видишь, свели почти на нет. Одни пеньки остались да кустики от леса-то... Платоныч думает раскорчевать под хлеб.

— Что ж, правильно думает. Расширение посевных площадей — дело государственной важности.

— Во чешешь, как по писаному,— восхищенно сказал Якку.— Только зачем же расширять посевы за счет лесов? Ну, ладно, была война, спилили... Так взять бы теперь да опять посадить деревья... В всей округе порядочной рощи нет, а мы — распахивать...

— Ну, знаешь, снявши голову, по волосам не плачут...

— Так-то оно так, а все же лес беречь надо.

— Неопровержимая истина,— засмеялся Аврам.—Волга впадает в Каспийское море, а Свияга — в Волгу.

Поднялись на холм. Отсюда открывался вид на село, на только что упомянутую Свиягу, на Лысую гору.

Долина реки тянулась с юга на север. По эту сторону она была просторнее, холмы поднимались более полого.

По склону одного из них раскинулось село Табор. Три его широкие улицы тянулись вдоль Свияги. Дома нижнего порядка фасадом смотрели на улицу, задами — на реку. Огороды подступали к самой воде, в половодье их заливало, сносило плетни.

На той стороне реки от самого берега поднималась поросшая кустарником, изрезанная овражками возвышенность с голой изжелта-белой верхушкой — Лысая гора.

Дорога, вильнув с холма в низину, запетляла между болотцами, до краев наполненными талой водой. Здесь было топко, Аврам в своих щегольских ботинках начал по-журавлиному перешагивать с одной сухой кочки на другую. Якку опять понес его чемодан.

Миновав топкое место, поравнялись вскоре с огородами, остановились передохнуть. Будущий зоотехник отер вспотевший лоб, шею, достал папиросы. Закурили.

— Вроде здесь где-то живет моя залетка, а? — вопросительно взглянул он на Якку.— Дом их на Церковной улице стоял? Так?

— Вспомнил... Та улица давно уж Коммунистической называется. Ты же знаешь: там в девятнадцатом году...

— Да знаю, знаю...

В девятнадцатом году на площади перед церковью белобандиты расстреляли таборских коммунистов. Когда Якку учился в первом классе, учитель в годовщину Октября привел их к памятнику, поставленному на площади в честь расстрелянных, и рассказал об их жизни и борьбе. Позже, вступая в пионеры, Якку и его товарищи давали около памятника торжественную клятву. А для Аврама в те годы и памятник, и связанный с ним эпизод гражданской войны стали неожиданно постоянным источником огорчений. От взрослых ребята слышали, что расстрелом руководил отец деда Мигиша, то есть Аврамов прадед. Стоило бойкому Авраму с кем-нибудь из ребятишек повздорить, как тотчас же он слышал в свой адрес: «Бандюга, бандюга! Контрик!!» Случалось, до слез доводили его мстительные эти выкрики. И сейчас вспоминать про те огорчения было ему, конечно, неприятно...

— Так здесь она живет? — продолжал допытываться Аврам.— Я про Марись говорю.

— Пошли,— сказал Якку и, подхватив чемодан, широко зашагал вперед.

— Да погоди ты, я же про Марись... председателеву дочку...— едва поспевая за ним, зачастил Аврам.— Хоро-

шая была девчонка. Помню, целовал ее. Где она? Все в деревне? Кем работает?

Якку сделалось жарко, кровь бросилась в лицо, и, опасаясь, что Аврам заметит это, он зашагал еще быстрее.

— Да погоди... Я спрашиваю, где Марись?

— Здесь... в селе... в колхозе,— буркнул Якку.

— Что ж не учится дальше? Она ж вроде десятилетку кончила.

— Этим летом поедет... В сельскохозяйственный.

— Молодец! А мне еще год остался! Значит, год вместе будем,— радостно проговорил Аврам, не замечая, как мрачнеет лицо приятеля.

Якку попытался найти дом Агафоновых, но за ветлами его не было видно.

— А этот... Енчиков?.. Кузьмой, кажется, звали... Он в селе? — оживленно продолжал расспрашивать Аврам.

— Шофером работает,— деревянным тоном отозвался Якку.

— Знаешь, это он тогда, на игрищах, поймал Марись и послал со мною... Ну, как полагается по старому обычаю... Она, бедняжка, помню, ни жива ни мертва. Шелохнуться боится... А мне приглянулась, ей-богу! — Он засмеялся и дружески ткнул Якку в плечо кулаком.— Знаешь, худенькая, маленькая, глазищи блестят в темноте. С тех пор, наверно, уж подросла... А тогда — то ли шестой, то ли седьмой кончала. Ну вот, идем, темень — хоть глаз выколи. Молчим. Да и о чем говорить? Ну, имя ее узнал. Ну, а что еще? К тому же темно, лица ее не разглядишь... Брало, знаешь, сомнение: а вдруг она — страх божий. Иногда ведь в насмешку посылали... И посветить нечем, спичек не было — не курил я тогда. Ну, и стал хитрить... Кто, мол, такая, где живешь... На Церковной, говорит... И сейчас там же?

— Там,— коротко отозвался Якку.

— Ну хорошо, думаю... Буду провожать до дому, пойдем мимо сельсовета. Постояли мы под ветлами за избой-читальней, и повел я ее домой. Подошли к сельсовету — окна как раз освещены. Я ее — под свет... Гляжу: батюшки мои — красавица! Глаза — синь небесная. А губы-ы!.. Ну, думаю, пропал мальчик. Оробел, как первоклашка. А все же перед расставанием, около калитки, поцеловал-таки. Раза два или три. Ну, конечно, по-ребячьи еще... И она не отбивалась — вот что удивило меня. То ли ей самой интересно показалось, то ли не посмела—

уж не знаю. Я тогда просто влюбился в нее. Она что — и сейчас такая же красивая?

Вопрос повис в воздухе. Якку шагал, тупо глядя себе под ноги. Радость, охватившая его при встрече с другом детства, улетучилась бесследно, оставив после себя холодную пустоту. Возбужденная речь Аврама саднящей горечью отзывалась в сердце. Ну как он должен сейчас поступить? И как вообще поступают люди в его положении? Скажем, герои классической литературы? Вызывают на дуэль? Дают пощечину? А он, Якку, идет и молча слушает... Да еще несет тяжеленный чемодан того, кому следовало бы дать по морде. Другой бы на месте Якку поставил чемодан и, посмотрев в глаза этому болтуну — без улыбки, пристально и холодно, как умели отпетые дуэлянты прошлого века,— сказал бы: «Вот что, любезный, попридержите язык, пока я вам его не укоротил. Будьте поскромнее, когда говорите о девушке.» Или еще как-нибудь, порезче... Возможно, дал бы понять, какие чувства питает к девушке, за честь которой вступился. Но для такого нужен другой характер, не тот, что у Якку. Он же, Якку, нюня, тюха-матюха... Знай себе шагает развеся уши да кряхтит под тяжестью чемодана...

Взбодрив себя таким самобичеванием, Якку решился прервать разглагольствования будущего зоотехника вопросом.

— Чем теперь занимается Миша?

— Миша-то? Не смог учиться, а потому работает в колхозе, как и ты.

Что-то обидное почудилось Якку в этих словах.

— В колхозе и ученые работают...

Фраза прозвучала резче, чем бы Якку хотелось, и ему стало неудобно. Аврам-то, пожалуй, ничего обидного и не думал сказать, просто у него, у Якку, разыгралось воображение... Кому-кому, а уж Авраму-то известно, почему Якку не смог учиться после семилетки... Знает он и то, что в школе Якку был отличником, редко получал четверки. И Авраму не однажды помогал. Да и условия, в которых жили Якку и Аврам, не сравнить. У Аврама отец работал в сельпо, ежемесячно получал твердый оклад. С такой поддержкой, конечно, можно было учиться.

По узкому проулку вышли на Полевую улицу, повернули к дому Якку — Авраму было по пути. Дом был приметен росшей перед ним березой. Мощный ствол ее белым гладким столбом вздымался над ветлами, растопы-

рившими вокруг свои сучья, и там, в вышине, раскидывал пышную крону, в которой чернели грачиные гнезда. Еще издали Якку заметил мать, сидевшую на крыльце, на самом солнцепеке. Она куталась в старый, с прорехами, полушубок, на ногах были подшитые валенки, на голове ношеный-переношеный мышиного цвета шерстяной платок. Эта ветхая, словно бы пропылившаяся от долгой носки одежда и худое, цвета золы лицо были сделаны, казалось, из одинакового материала. У Якку сжалось сердце: плоха мать, очень плоха...

— Зайдем к нам, что ли? — предложил он, когда поравнялись с домом.

— Стоит ли,— заколебался Аврам.— А что с матерью? Туберкулез?

Якку точно плетью хлестнули эти слова. Для Аврама женщина, сидящая на крыльце,— только разносчица заразы... Но со свойственным ему постоянным стремлением быть справедливым, Якку поторопился оправдать приятеля — в конце концов он вправе позаботиться о своем здоровье.

— Не бойся, у нее не туберкулез. Врач говорит — рак.

На лице Аврама появилось какое-то жалобное выражение, будто у него вдруг заболел зуб. Неловко переступил с ноги на ногу:

— Ладно, в другой раз как-нибудь зайду.

Он взял из рук Якку чемодан и зашагал к дедову дому, чья зеленая крыша заметно возвышалась над соседними.

— Кто это с тобой был? — спросила мать.

Якку едва расслышал ее слабый голос.

— На практику парень приехал, на зоотехника учится,— сказал Якку.

Имени Аврама не назвал — уж очень неприятный осадок остался от этой встречи. Достал из кармана кулек конфет:

— Вот, мама, твои любимые.

И положил конфеты матери на колени.

Глава вторая

«Эка загордился, уж и председателя ему зазорно подождать,— подумал Агафонов, глядя вслед удалявшимся парням, в одном из которых по шляпе опознал Линько-

ва.— Отец-то услужлив, а сынок, видно, в купцовскую породу пошел — горд и неприступен. Ну, ну, посмотрим, есть ли чем гордиться-то. А рядом кто же? Э, да никак Якку Урнекеев... Вот черти, шагают — на лошадях не догонишь. А любопытно бы порасспросить, как тут без меня-то».

Когда парни, обойдя заросший кустарником выступ Заказа, скрылись из глаз, Агафонов отказался от намерения догнать их. Выбрал на обочине дороги место, где прошлогодняя жухлая трава была посуше, поставил чемодан, а сам сошел на пашню. Ноги увязали в земле; липкой грязью она наматывалась на сапоги — не подсохла еще. Агафонов взял земли в горсть, отжал в кулаке влагу, растер на ладони, понюхал. Ах, хорош дух у таборской земли! Прямо хоть намазывай на калач да ешь, ей-богу!

Шестьдесят с лишним лет ходит по этой земле Агафонов. Не было, пожалуй, на здешних полях такого места, куда бы не ступала его нога. Ему и сны снились только о земле. Жена каждый раз говорила: «Земля во сне — не к добру». А он считал — к добру. Он любил землю до самозабвения, до чудачества. В поля на машине не выезжал, как другие председатели, а все пешечком, в крайнем случае — верхом. Однако специального коня не держал, считал — накладно. «Выездным» служил ему жеребец Чемберлен, состоявший в штате пожарной команды.

Агафонов еще раз втянул носом запах почти «спелой» земли, отряхнул ладонь о ладонь и вышел на дорогу. Подумал: «В самый раз приехал. А задержись — что бы получилось?..»

Конечно, никакой особенной беды не произошло бы. Еще до его отъезда на курорт был полностью отремонтирован посевной инвентарь, очищены семена, вывезены на поля удобрения. А все же, когда дело на глазах, поспокойнее. Уезжал,— два трактора еще стояли: для одного колец не нашлось, для другого — подшипников. Вот и думай... Какой тут, к черту, курорт?! Инженер, правда, обещал нужные детали раздобыть. Да раздобыл ли? В письме своем Макар Макарыч ни словом об этих делах не обмолвился.

Шагах в десяти от дороги увидел Агафонов знакомый пень. Невысокий, с полметра. Памятно было это место Мирону Платонычу с юношеских лет. С осени восемнадцатого года...

Агафонов снял фуражку и по молодой, похожей на иголки, травке подошел к пеньку. Постоял около него в раздумье. Так он поступал всегда, когда случалось проходить мимо. Сердцевина пенька превратилась в труху. А раньше стояла здесь огромная осина, и видно ее было издалека. Спилили в сорок пятом, в последний год войны. Не было тогда Агафонова в селе, а то разве допустил бы такое святотатство. Для него осина была живым монументом, который взращивала природа в память погибшего здесь человека. А человек тот доводился ему отцом...

Агафонов надел фуражку и присел на пень — это также входило в выработанный годами ритуал. Вытянув шею, посмотрел в сторону села. Да, километра два с половиной будет. И на таком расстоянии он услышал тогда крик отца...

...В феврале восемнадцатого года солдат Платон Агафонов был ранен в бою с немцами под Псковом. Раздробленное колено, потеря крови, несколько часов без сознания пролежал в поле, на снегу,— оказалось, что у солдата обморожены лицо, руки и ноги. Около восьми месяцев провалялся в лазарете, а когда встал на ноги, списали по чистой.

Помнил Мирон Платоныч, как темной октябрьской ночью разбудили его, тогда семнадцатилетнего паренька, вскрики и причитания матери, как что-то горячее ударило в сердце, когда увидел в горнице незнакомого прихрамывающего солдата. Не сразу узнал в нем отца. Лицо, лоб были покрыты бурыми пятнами, исполосованы шрамами.

Потом чуть ли не до свету сидели за столом. Поев, рассказывал солдат, где был, что видел, какие события происходят в стране. Мирону тоже было о чем порассказать. В округе еще недавно шли бои с колчаковцами, и красные только-только взяли Симбирск. Отец сказал, что он добирался до Табора как раз через Симбирск. Все больше пешком. Днем нагнал его на подводе сын Власа Купцова — Мигиш, а не остановился, паршивец. Хотя в телеге, кроме чего-то продолговатого, завернутого в полог, никакой клади не было. И еще непонятно: с дороги свернул в Свияжский лес. А когда ночью, уже недалеко от села, нагнал его, Платона, телега была пустая. Ну, правда, посадил. Поинтересовался у него Платон, зачем это он в Свияжский лес свернул,—заблудился, отвечает...

— Тятя,— не вытерпел Мирон,— да ведь Мигиш-то, наверно, к отцу ездил...
— К Власу? Что же Влас в лесу поделывает?
— Да контрик он. На войне в офицеры вышел. Чин поручика имеет. У белых служил. Они отступили, а он, слыхать, тут остался. Отряд набрал. Чтоб, значит, с красными воевать.
— Во-он что! — протянул отец.— То-то, спросил я Мигиша: как, мол, живут в Таборе. А он мне: «Живут на ять — ни взять, ни дать, посмотришь — насквозь видать, потому у голодранцев власть...» Ну, оно и не диво, что Купцовы-то против Советов — лавку держат, земли засевают, как помещики, полсела у них в долгу...
— Они, говорят, не против Советов, а против коммунистов.
— Слыхивали эти кулацкие песни,— сказал отец и сощурил, будто прицеливаясь, глаза.— А ведь выходит, недаром Мигиш-то спросил меня: «Коммунист, мол, ты, дядя Платон, аль нет?»
— А ты коммунист, тятя?
— Коммунист.
— Тогда и я коммунистом буду,— решительно сказал Мирон.
Отец засмеялся.
— Обязательно. Вот только ума поднаберешься.
С утра потянулись к Агафоновым родственники, а за ними и остальные односельчане. Всем хотелось узнать, не вышло ли каких распоряжений от центральных властей, где и с кем воюет Красная Армия, жив ли товарищ Ленин, а то, слыхать, ранили его в Москве-то... Да и каков он из себя человек... В избе — митинг не митинг, а что-то вроде этого. А как узнали, что Ленина своими глазами отец видел — довелось в Петрограде побывать на Втором съезде Советов,— и вовсе насели с расспросами. Больше, конечно, насчет земли — главного крестьянского интереса. Отец объяснил, что землю Советская власть отдает тем, кто ее обрабатывает,— трудящимся хлеборобам. В ответ люди недоверчиво крутили головами, еще пуще чадили «козьими ножками», звонче причмокивали, вытягивая дым из трубок.
— Не верите?! — разгоряченно вскакивал из-за стола отец и приглаживал пятерней стриженую голову.— Э-эх, вы-ы! Да ведь на то год назад и власть эксплуататоров скинули, чтоб, значит, вам все дать... и землю и прочее...

Народу, стало быть. К тому нас, коммунистов, призывает товарищ Ленин... Бороться, значит, не щадя себя, за народ... Чтобы сам он, без помещиков, без буржуев и кулацкого элемента, управлялся с землей, с фабриками и заводами...

К вечеру отец совсем охрип, а от едучего махорочного дыма у него аж глаза покраснели. Матери удалось наконец выпроводить мужиков. Но тут явились председатель комбеда Макар Гордеич Яснов и учитель Роман Андреич. Долго беседовали. Мирон слышал: разговор шел об отряде Власа Купцова. Порешили: завтра отправить старшего Агафонова в волость. Он прошел войну, человек понимающий, пусть обрисует обстановку, попросит оружия для обороны. А вернется из волости с оружием — собрать народ на сходку, тут и организуется отряд самообороны.

На другой день чуть свет, только что сели завтракать, к дому подъехали несколько вооруженных всадников. Мирон сидел около окна и увидел их первый. Увидел — и ложка из рук выпала: среди всадников узнал Власа Купцова! В офицерской бекеше без погон, весь затянут ремнями, на боку — шашка, у пояса — желтая кобура. Что-то сказал Купцов своим спутникам, те спешились, а он, взяв с места в галоп, ускакал по направлению к церкви.

— Тятя, прыгай в подпол,— бандиты! — крикнул Мирон.

Отец побледнел, но сказал спокойно, не двинувшись с места:

— В подполе найдут. Да и не убежишь теперь.

В сенях прогрохотали тяжелые шаги, широко распахнулась дверь, в избу вошли трое. Высокие, плечистые, в военной одежде, при шашках, за спиною — винтовки, в руках — нагайки.

Один из них, здоровяк в папахе и с черными усами, выступил вперед и — отцу:

— Ты, что ль, Агафонов?

— Я Агафонов.— Отец положил ложку на стол.

— По распоряжению Совета ты арестованный.

— Какого такого Совета?

— Вста-а-ать! — свирепея, закричал усатый и нагайкой хлестнул себя по голенищу сапога.

Отец медленно поднялся, но усатый шагнул вперед, схватил его за предплечье и рванул из-за стола. Отец задел несгнувшейся ногой за ножку стола и упал. Видно, ушиб не зажившую как следует коленку, потому что

застонал. Мирон, куда только страх подевался, выскочил из-за стола и — к отцу:

— Не видите — инвалид? Нельзя его трогать!

Нагнулся, чтобы помочь ему подняться, но тут могучая лапища опустилась ему на шею, и он, словно щенок, отлетел в сторону. Стукнулся головой об угол печки, из глаз искры посыпались. Когда очнулся, в избе никого из взрослых уже не было. Перед ним на полу сидели заплаканные младший брат и сестренка Евдук. Посередине стола все еще стояла большая деревянная миска с супом — над нею поднимался парок. У порога валялся пестрый головной платок матери.

Мирон тронул голову — мокро, взглянул на пальцы — кровь. Вдруг понял, что отца увели бандиты, и, сразу забыв про рану на голове, про боль, выбежал на улицу.

Со стороны церкви доносились крики, топот копыт, лошадиное ржание. Мирон побежал туда.

У церковной ограды стоял отец. Рядом — учитель Роман Андреич и председатель комбеда Яснов. Их полукругом обступили спешенные бандиты, смешливо о чем-то переговаривались, поигрывая нагайками. Тут же гарцевал на коне Купцов. Жители села, должно быть, заранее согнанные на площадь, толпились поодаль, хмуро смотрели себе под ноги.

Мирон протолкался через толпу и оказался в нескольких шагах от отца. Перекрещенная ремнями спина черноусого здоровяка в папахе разделяла их. Отец был в одной рубашке и почему-то показался Мирону очень худым, изможденным. Едкая, горючая жалость затопила сердце Мирона, подступила к горлу...

— Тятя!

У отца дрогнуло лицо — увидел Мирона. Выставил вперед ладонь, как бы предупреждая — не подходи. Потом вздохнул полной грудью и шагнул вперед, прямо на того, в папахе, чья спина маячила перед Мироном.

— Товарищи! Эти недобитые колчаковцы толкуют про Советы без коммунистов!.. Не может быть таких Советов!.. Потому как товарищ Ленин...

Здоровяк в папахе выдернул из деревянной кобуры маузер и ударил им отца сбоку по голове. Тот закачался, шагнул вперед и упал лицом вниз, прямо в пыль.

— Люди-и! Чего смотрите?! Убивают-ют!!! — раздался рядом отчаянный крик матери.

— Не убьем, не бойсь,— оскалил зубы восседавший



на коне Влас Купцов.— В волость повезем. А ну-ка!..

Четверо бандитов подхватили отца с земли, поперек седла забросили на спину ближайшей лошади, к рукам привязали веревку и под лошадиным брюхом подтянули к ним здоровую гнущуюся ногу. Мирон шагнул было к отцу, но сзади кто-то осадил его за ремень, да так сильно, что он едва на ногах устоял.

Купцов шевельнул поводьями, подъехал к стоящим у решетки Яснову и учителю Роману Андреичу:

— Так как же, уважаемые? Трудовое крестьянство ждет...

Потом уже Мирон узнал: предводитель бандитов потребовал, чтобы таборские коммунисты публично раскаялись в своих «заблуждениях» и призвали односельчан помогать ему, Купцову, как «борцу за народные интересы».

Председатель комбеда и учитель будто и не слышали обращенных к ним слов, стояли безучастные. Буланый конь под Купцовым косил на них горячим глазом, нетерпеливо переступал сильными ногами. И так было тихо на площади, что слышался негромкий на мягкой земле перетоп конских копыт.

В руке Купцова блеснул наган. Один за другим сухо хлопнули выстрелы.

Яснов упал, словно подкошенный. Учитель левой рукой ухватился за сердце, правой зачем-то снял очки... Раскрыл рот, словно желая что-то сказать, но изо рта хлынула кровь... Ноги надломились, учитель, медленно скользя спиною по прутьям ограды, сполз на землю, сел и уронил голову на грудь.

— И тебе следом охота? — услышал вдруг Мирон над головой спокойно-бешеный голос Купцова.

Вскинул взгляд — в упор на него смотрела черная глубина револьверного дула. Закрыл глаза — «все». Где-то, словно в глубине мозга, дикий вопль... Это мать... Сколько стоял так, не знает, но когда открыл глаза, небольшой отряд бандитов успел пересечь площадь и скрыться в проулке, который выходил на дорогу, что вела к Заказу.

Не выстрелил Купцов...

Со стороны Нижней улицы донеслась дробь копыт, к церкви подскакали двое милиционеров.

— У вас бандиты были, нет?! — крикнул один из них, осадив коня.

Кто-то ответил, что только что убрались, но объясне-

ния были излишни, потому что милиционеры уже увидели лежавшие около ограды трупы. Спешились, сняли фуражки, потом опять надели и, взяв наперевес винтовки, побежали в проулок. Народ повалил было следом, но милиционеры приказали всем разойтись и носа не высовывать за околицу.

Мирон огородами пробрался до конца проулка, чтобы лучше видеть, забрался на плетень. Отряд бандитов шел на рысях краем болота. Милиционеры открыли пальбу. Один из бандитов вывалился из седла, но его нога застряла в стремени. Конь свернул на болото, волоча всадника, вскоре нога выскользнула из стремени. Бандиты, оставив товарища, взяли в галоп и скрылись за выступом Заказа.

Несмотря на запрещение, народ высыпал на окраину села. Милиционерам привели их коней. Они заложили в винтовки по новой обойме и поскакали вслед за бандой.

И тут со стороны Заказа донесся этот крик. Потом еще раз и еще... Народ замер на месте.

Мирон спрыгнул с плетня и, ног не чувствуя под собою, помчался вслед за милиционерами...

Труп отца покачивался на нижнем суку осины, едва не касаясь ногами земли. Видно, отец сопротивлялся бандитам до последнего. У него была сломана правая рука и разбита голова. Повесили его, должно уже после того, как он потерял сознание или умер. Милиционеры обрезали веревку и положили отца на ржавую траву под осиной. Она и сейчас здесь такая же, трава, словно время не властно над нею.

Каждый раз вот так: придешь сюда — и все сразу вспоминается, хочешь ты того или нет. И отец, и сестренка, и брат, что потом, в Отечественную, погиб под Сталинградом, и мать... Ее крик, когда Купцов наставил на него наган, и сейчас звучит в ушах. Даже застреленный милиционерами бандит — и тот вспоминается. Черноусый здоровяк в папахе, что увел отца из дому. Зарыли его на болоте, там, где нашли. Болото давно высохло, вода там стоит только в весеннюю распутицу, а место до сих пор называют Разбойничьим болотом.

Когда привезли мертвого отца домой, Мирон не плакал. Нашел топор и вечером отправился к Купцовым — мысль была порешить Мигиша или его деда, старого Купцова. Но дома их не было — обоих милиционеры увели в волость.

С Мигишем встретился Мирон только лет через пять, когда тот вернулся из тюрьмы. К тому времени Мирон был в свои двадцать два года ветераном гражданской войны, коммунистом и о личной мести не помышлял. А все же при встречах с Мигишем темнел лицом. И до сего дня сохранилась между ними отчужденность, хотя давно, казалось бы, время списало все счеты.

В небе звенели жаворонки. Для непривычного уха их голоса сливались в один. Но Мирон Платоныч слышал двух певунов. Голос одного звучал отчетливее, громче,— видно, порхал он совсем невысоко над землей. Мирон Платоныч взглянул вверх, но птицу так и не различил в синеве — уж очень ярко сияло небо, пронизанное солнечными лучами, до того ярко, что вышибало слезу. Ну, что ж, пичуга, спасибо за песню; хорошая песня, сердце облегчает...

С юга подул ветер и затих. Но через малое время накатила новая волна воздуха, посильнее. А потом порывы пошли один за другим. Ветер был теплый, ласково оглаживал лицо. Пусть подует — подсушит землю.

Земля!

Сколько крови и слез пролито из-за нее с той поры, как начал человек выращивать на ней хлеб!.. Реки, буквально реки... А сколько людского пота впитала она в себя... От него, от пота, и кормилицей сделалась. И дороже ее ничего у крестьянина не было в былые времена. Земля и кормила, и одевала, и долги покрывала. А не было земли в достатке — крестьянин и раздет и разут, и всяк для него закон и суд. Теперь, конечно, не то. Вон ее, земли-то... Только работай, не ленись. Да вот опять загвоздка. Не остается в деревне людей, по-настоящему, как в былые времена, преданных земле. Может, так и должно быть. Машина встала между человеком и землей. Она взяла не себя главную заботу о земле. Из кабины мощного трактора земля и видится-то по-иному, чем вблизи, когда топаешь по борозде, опираясь на чепиги, и лошадиный круп размеренно покачивается перед глазами. Из кабины подробностей не замечаешь. Зато масштабы, размах! Истина, видно, в том, чтобы широкие масштабы сельскохозяйственного производства соединить с древней любовью к земле. Мирон Платоныч старался привить молодежи такую любовь. Были у него тут и поражения, и ус-

хи. Однако успехов, наверное, больше, коли в районе колхоз держит первенство по урожайности. Не за здорово живешь обком и облисполком послали в Верховный Совет представление о награждении орденами нескольких таборских бригадиров и звеньевых... да и самого председателя тоже. Может, и не всех, попавших в список, наградят, но уж Санькку Ударову и Микиту Каткова награда миновать никак не должна. У этих вся жизнь — в земле.

В низине, за кустарником, там, где колхозные огороды, монотонно гудел трактор. Что он там делает? Мирон Платоныч встал на пень, взглянул в ту сторону, даже на цыпочках вытянулся, но трактора так и не увидел. Спрыгнул с пня. Что может делать там трактор в эту пору? Известно, навоз разбрасывать. Тот самый, собранный по дворам навоз, который еще до отбытия председателя на курорт был вывезен на огороды. Ну так, значит, все идет своим порядком, и нечего вскакивать на пенек и башкой вертеть, словно заяц с перепугу... Мирон Платоныч усмехнулся, крутнул жесткий с проседью ус и, надев фуражку, пошел к дороге.

Глава третья

Когда Агафонов присел на пень, Новый Прухха даже плюнул с досады.

«Неужто уж и устал? — подумал он, глядя на сидевшего спиной к нему председателя.— То целыми днями мотается по полям — хоть бы ему что, а тут, когда не надо, как на грех, расселся...»

У Пруххи была причина опасаться встречи с председателем; он возвращался с юга, куда ездил торговать картошкой. Мало того, что председатель вообще относился с неодобрением к таким самодеятельным коммерсантам, он мог поинтересоваться: какой такой святой дух заменял Прухху на колхозной работе во время его отсутствия?

Эх, да что там Агафонов... От Агафонова еще была возможность отбрехаться. А вот как дома встретят? Картошку-то Прухха увез тайно от жены: Санька в тот день была на районном совещании передовиков сельского хозяйства. А все старик Купцов, чтоб ему подавиться той картошкой! Наговорил с три короба: картошка, дескать, на юге дороже яблок, меньше, чем по тысяче, не привезем. По тысяче... Прухха таких денег сроду и в руках не

держал. Как тут не соблазниться? Да и хлопот больших не предвиделось. Товарный вагон Купцов заарендовал заранее, а свезти картофель на станцию и погрузить согласился за сходную цену Кузьма Енчиков. Прухха даже тещу свою Ухрусь соблазнил отдать ему для продажи излишки картошки. Думал нажиться, а теперь даже малой толики за труды получить не с чего.

Соблазнительная эта вещь — деньги. А то бы разве понесло Прухху за семь верст киселя хлебать? Деньги все виноваты, будь они неладны. Вот, к примеру, поется: «А без денег жизнь плохая, не годится никуда...» Правильные слова? Правильные. А коли так, почему бы не сделать жизнь лучше? Ну, и увязался за Купцовым, как телок за маткой...

А на деле получилось все по-иному. «Писнес», как именовал старик Купцов операцию с картошкой, у них не удался. В южном городе, где они надеялись реализовать товар, их задержали, картошку заставили выгрузить на склад и уплатили за нее по государственной цене. Такую-то прибыль они могли получить и дома, не слезая с печи... Хорошо, что хоть не арестовали как спекулянтов.

Видно, ни к чему Пруххе соваться в такие дела. С молодых лет не приучен к коммерции, где ж теперь научиться...

Шел Пруххе тридцать шестой год, но сейчас, истомленный дорогой, он выглядел много старше. Согласно метрике, были у него имя, отчество и фамилия — Прохор Иванович Емеськин. Но в деревенском обиходе как-то забылись. Многим показалось бы даже нелепым величать Прухху по имени-отчеству. У них бы и язык не повернулся, разве что в насмешку. Таков уж был Прухха человек.

В раннем детстве остался он круглым сиротой. Дядя по матери взял его к себе в дальнюю деревню. Там мальчонка вырос и, отслужив в армии, решил поселиться в родном Таборе. Как раз в это время его тезка Прохор Козлов — по-уличному Прухха Приозеров (жил неподалеку от озера) — собрался переехать в Сибирь на новые земли. Емеськин купил у него дом. Вместе с домом перешла к Емеськину и кличка — Прухха. Но поскольку это был уже другой Прухха, то и стал он — «Новый Прухха».

Да, никудышным коммерсантом оказался Прухха. Оно

с чего бы другим и быть? Ни в школе, ни в армии не учат таким делам.

А вот Мигиш Купцов — тот во всей этой науке разбирается до тонкостей. Потому то и остался он не в накладе. С кем-то поговорил, кому-то «сунул в лапу», где-то «смазал» и сумел из запроданного уже вагона вывезти машину картошки на базар. Правда, не на большой, а па тот, что поменьше, на окраине города. Да какая разница, все равно, поди-ка, дороже яблок продавал. А Прухха... А Прухха в это время знакомился с городом. Будто какой-нибудь турист, которому время девать некуда. Забрел на станцию. На запасных путях, готовый к подаче на посадку, стоял поезд, на котором предстояло возвращаться домой. Скучно и тоскливо стало Пруххе. Недолго думая, забрался в вагон и залег на самую верхнюю полку. Пропади он пропадом, Мигиш Купцов вместе с его картошкой и обещанной тысячей.

За утро, пока возился с грузом, Прухха порядом устал и, очутившись на полке, сразу заснул. Станцию, где надо было делать пересадку, проехал. Из-за этого до дома добирался четверо суток вместо двух...

По мере того как подходил к месту, где сидел Агафонов, Прухха замедлял шаг. Надо же — сидит и сидит... О чем думает? Добро бы, курил, а то ведь некурящий.

Наконец совсем остановился. Назад повернуть — неудобно, оглянется, узнает, подумает невесть что. Свернуть в Заказ — в грязи по уши завязнешь. Вот незадача!

Агафонов поднялся, вскочил на пенек. Пруххе ничего другого не осталось, как двинуться вперед. А когда председатель направился к дороге, пришлось и голос подать:

— Мирон Платоныч, с приездом!

— А-а, Емеськин! Спасибо.

Агафонов подождал, когда подойдет Прухха, поздоровался с ним за руку.

— Откуда шагаешь, мил друг? — спросил он, пристально посмотрев Пруххе в глаза.

— Да вот из города прибыл.

— Из города? Никак, пятнадцать суток там отсидел?

— Вроде нет. А что?

— Да страховиден уж больно. Ни дать ни взять — каторжник.

Прухха провел ладонью по щекам, конфузливо ухмыльнулся. И верно, зарос, словно разбойник с большой дороги... Последний раз брился перед отъездом из дому.

Да и умывался, пожалуй, тогда же. Старая стеганка пропылилась и пропотела до того, что затвердела, как жесть, а из прорех торчат какие-то темные клочья — вата, что ли?.. А уж о рубахе и говорить нечего: истлела, на одном воротнике держится.

— По какому же делу в город ездил? — не отставал Агафонов, по-прежнему неотступно вглядываясь Прухе в глаза и оставаясь на месте, будто городской пенсионер, которому некуда торопиться.

— Дело-то... Да, тут одно... со стариком Купцовым ездили.

— С Купцовым? Картошкой, что ли, торговали?

— Да... То-ись вообще-то не пришлось... По государственной цене отдали... Государству, значит...

— А здесь сельпо разве не принимает?

— Не знаю...

— Ага, выходит, и не спрашивали. Ну, тогда понятно, куда вы ездили и зачем. Да, видать, ничего не выездил? Так, что ль?

Прухха сокрушенно мотнул головой.

Мирон Платоныч рассмеялся.

— Хорош купец! Поехал за барышом, а вернулся голышом. Как же это тебя Санькка-то пустила?

— Она в районе была, на совещании.

— Ну, понятно, понятно... Достанется, стало быть, тебе на орехи. И поделом, паря. Ты, кстати, где на посевной-то должен работать?

— Плугарем закрепили.

— А плуги твои, плугарь, готовы?

— А как же, Мирон Платоныч, само собой, готовы,— словоохотливо заторопился Прухха.— И плуги и трактора — все в лучшем виде, хоть на парад. Я ж работаю с Микитой Катковым.

— Вон тебе какой пост доверили. А ты...

Агафонов махнул рукой — что, мол, говорить по сто раз одно и то же — сам знаешь. Прухха, чтобы хоть както смягчить председателя, проворно поднял его чемодан.

— Пойдем, что ли, Мирон Платоныч... А чемоданчик я понесу, мне это — пух-перо...

На самом деле чемодан был тяжел, хотя и не очень велик. Через три десятка шагов Прухха уже покаялся, что напросился нести чемодан. Чем это он набит, чугунами, что ли?

Словно угадав его мысли, Мирон Платоныч сказал:

— Яблок в Москве накупил. Свежие, словно вчера сняты, и запах и вкус...

— Сказывали: Макар Макарыч из питомника саженцы яблонь привез.

— Яблони? И где же сажать думает?

— Вроде под Лысой горой, по берегу.

— А-а, это ладно. Я думал, не на хороших ли землях.

Прухха усмехнулся:

— Хорошую землю, Мирон Платоныч, теперь тоже не больно жалуют. Вон сколько у нас ее отрезать собрались.

— Как это — «отрезать»? — не понял Агафонов.— Ты, мил друг, несуразицу несешь. Иль не выспался в дороге?

— Выспался... А землю все же отрезают. «Сахарстрой» какой-то... Говорят, завод будут строить. Да вон, сами гляньте.

Прухха, пользуясь возможностью передохнуть, поставил чемодан и указал на Черное поле. На ближнем конце поля в нескольких местах торчали ошкуренные колья с фанерными дощечками.

— Это они, Мирон Платоныч, грунт на пробу берут,— объяснил Прухха.— Выдюжит ли, значит, здешняя земля ихний завод...

— Выдюжит? — Ошарашенный новостью Агафонов снял фуражку, достал платок, вытер вспотевшее вдруг лицо и шею.— Ну уж не-е-ет... Землю я им не отдам! У них весь завод этого поля не стоит. Не-ет! — Он выбросил вперед кулак и яростно потряс им перед лицом Пруххи, словно Прухха отбирал у колхоза землю.— Нужна им земля — пусть берут вырубки. Пожалуйста, корчуйте! А то после посевной мы начнем корчевать, тогда не взыщите — и этой землицы не получите! Ишь, сколь их, охотников-то до готовой землицы! — все сильнее распалялся Мирон Платоныч.— Им—завод! А хлеб, стало быть, на песках сейте! А?! Нет, каковы! Тут каждая пядь на учете, вся почва, почитай, людскими руками создана, пóтом и кровью полита, а они на-ко что придумали — завод! Ну, что встал?! — неожиданно накинулся он на Прухху.— Пойдем, да поживей...

До этого Прухха шел впереди, а теперь поспеть не может за Агафоновым. Председатель хоть и невелик ростом, а ходит — на тройке не угонишься. А тут еще чертов чемодан — ну сил нет, все руки оттянул! Аж запыхался Прухха. А председатель знай наддает...

— Н-ну, гол-лубчики... не высветит... не-е-ет,— на

ходу бормотал Агафонов.— Не видать вам той землицы, как своих ушей... За нее люди муки принимали... на гибель шли... а они — завод...

Перевалили через холм, протопали по лужам мимо Разбойничьего болота. Переулком, по которому только что прошел трактор и всю грязь, какая там была, поставил на дыбы, выбрались на Полевую улицу.

Мирон Платоныч внезапно остановился.

— Ты вот что, Емеськин: будь другом, снеси мой чемодан домой. А то куда я с ним в правление-то?

— Снесу, об чем разговор,— разулыбался Прухха, донельзя довольный тем, что больше не нужно бежать, как пришпоренному.— А вы-то что ж, не отдохнете разве с дороги?

— Отдохнешь тут, когда разом и стригут, и общипывают...

И тем же быстрым шагом по тропинке, протоптанной вдоль порядка, председатель направился к противоположному концу села. Прухха же, решив передохнуть, уселся на чемодан и стал смотреть ему вслед. Агафонов шел, и по мере его продвижения по улице что-то на ней неуловимо менялось. Оживала, что ли... То на правой, то на левой стороне открывались окна, люди прямо из дому здоровались с председателем, поздравляли с возвращением. А он только успевал снимать фуражку да раскланиваться. Встречные здоровались за руку, перекидывались несколькими словами и, улыбаясь, шли дальше.

«Вот авторитет у человека,— подумал Прухха не без зависти.— Меня вот неделю в селе не было, а хоть кто-нибудь открыл окно, поздоровался? И не заметили, поди, что неделю путешествовал... Конечно, Агафонов другое дело, потому что — председатель. Начальство. Поставь меня на его место, небось тоже окна бы пораспахивали: «Здрасьте, Прохор Иваныч...»

Агафонов скрылся за ветлами. Прухха вздохнул, встал и поднял тяжелый чемодан.

Правление колхоза находилось на северном конце села. На той же улице, чуть поближе, проживал агроном Яснов. Прежде всего Мирон Платоныч решил наведаться к нему.

Изба у Макара Макарыча была старая — осталась еще от дедовских времен. Мать умерла во время войны. Пока Макар Макарыч был на фронте, потом несколько лет, уже в мирное время, служил в армии, хозяйство при-

шло в запустение, постройки обветшали. Мирон Платоныч частенько приходил на этот заброшенный двор. То поставит подпорки к завалившемуся плетню, то слеги уложит на соломенную крышу, чтобы ветер ее не сорвал. Делал он это по праву старшего друга. Да не будь меж ними и дружбы, все равно не дал бы Мирон Платоныч пропасть гнезду Ясновых. Потому что Макар Макарыч был сыном председателя комбеда Яснова, расстрелянного белобандитами в восемнадцатом году.

Вернувшись в родное село, Макар Макарыч нашел свою избу вполне пригодной к жилью. Сделал, конечно, ремонт: обмазал снаружи глиной и побелил стены, сменил солому на крыше, поправил покосившиеся ворота и прясла. Под окнами отгородил палисадник и посадил несколько вишневых деревцев. И вот уже который год жил холостяком.

Агафонов зашел во двор и подивился: тут целые баррикады полусгнившей древесины. Хлев был полуразобран,— видно, Макар Макарыч решил пустить его на дрова. Да и то — зачем ему хлев, коли никакой скотины не держит?

Поднялся Агафонов на крыльцо, но дверь оказалась запертой. В петлях висел махонький, с наперсток, замочек. Кажется, ткни его пальцем — и отвалится. Усмехнулся председатель, покачал головой и зашагал к правлению.

Еще издали увидел спешившего туда же Яснова. С полей, видно,— высокие резиновые сапоги до колен испачканы грязью. Сошлись. Влепили с размаху ладонь в ладонь. На круглом, простодушном лице Яснова улыбка такая, что, кажется, каждая клеточка кожи источает радость.

— С приездом, Платоныч!

— Без руки оставишь, дьявол! — Агафонов помахал кистью руки, хлопнул Яснова по плечу.— Пойдем-ка, мил друг, потолкуем. И поругаемся уж заодно.

— Соскучился на курорте-то? — рассмеялся Яснов.

— Зато дома скучать не дают,— без улыбки отозвался председатель, первым поднимаясь на крыльцо правления.

В кабинете он плотно уселся в кресло за свой рабочий стол, Яснов устроился напротив.

— Как же так, Макар Макарыч? — с укором, да нет, пожалуй, даже с обидой, заговорил Агафонов.— Среди

бела дня на твоих глазах грабят колхоз, а тебе и горюшка мало.— В раздражении он подергал ус и загремел на повышенных тонах: — А ведь ты тут вроде не посторонний! Агроном, парторг, да еще и за председателя остался! Прямо сказать: бог-отец, бог-сын, бог-дух святой!! Или глаза у тебя на затылке?!

Яснов смотрел на Мирона Платоныча широко раскрытыми от удивления глазами.

— Ничего не понимаю. Какой грабеж? Не замечал, чтобы...

— Вон оно как — «не замечал»... Так, может, сам от Черного поля отказался? Возьмите, мол, люди добрые, а то, не дай бог, лишним хлебом огрузимся...

— А, так вот ты о чем,— облегченно улыбнулся агроном.— Ну, какой же это грабеж? Землю берут под сахарный завод.

— У вас берут, а у меня не возьмут!! — сорвавшись с кресла и вылетев из-за стола, выкрикнул Мирон Платоныч. Стремительно прошагал в угол кабинета, вернулся, остановился перед Ясновым, выставил тыльной стороной к нему пятерню, энергично загнул мизинец: — Земля колхозу дана в вечное пользование — это раз! По-настоящему годной пахотной земли у нас кот наплакал — два! Нет такого закона, чтобы разбазаривать пахотную землю направо и налево — три! — Остались торчать большой и указательный пальцы. Мирон Платоныч взглянул на них как-то недоуменно и быстро сложил в кукиш.— Во! До Москвы дойду, до ЦК, а землю не отдам.

— Насчет нее в Москве уже решение есть,— спокойно сказал Яснов.— И напрасно ты шумишь, Мирон Платоныч. Мы с тобой коммунисты, а не помещики-землевладельцы, и завод ставит не какой-нибудь капиталист-миллионер, а наше государство, заботиться об интересах которого — твоя и моя прямая обязанность.

— Вот-вот, об его-то интересах я и забочусь.

Мирон Платоныч вернулся в свое кресло, разгоряченно рванул телефонную трубку, вспомнил, что не дал вызов, положил обратно, покрутил рукоятку и опять поднял трубку.

— Соедините с райкомом, с товарищем Фоминым! — свирепо бухнул в микрофон.

В трубке щелкнуло, тоненько пропиликал женский голос.

— С Фоминым, говорю, соедините,— бледнея, повторил Мирон Платоныч.

— Фомин у телефона,— послышался голос первого секретаря.

— Это Агафонов... Грабят нас, Илья Николаич!.. А я...

— Постойте, постойте,— растягивая слова — такая уж у него манера,— прервал Фомин.— Когда вы приехали? Как здоровье?

— Сегодня... Хорошее... Приехал, а тут новость, как обухом по голове...

— Вы, похоже, насчет земли,— догадался Фомин.— Так что же вас обеспокоило? По-моему, радоваться надо.

— Ну да, хоть в пляс пускайся: из севооборота сто гектаров долой!

— Минутку, Мирон Платоныч. Но ведь и выгода большая. Неужели не понимаете?

Агафонов слушал и в толк не мог взять: шутит, что ли, секретарь райкома? Какая еще выгода? Где?

Фомин, видимо, понял его состояние.

— Ну, хорошо,— сказал он,— об этом потолкуем, когда я к вам приеду.

— Что хотите со мной делайте, Илья Николаич, а Черное поле я не отдам,— твердо сказал Агафонов.— А брать будут — только через мой труп.

В трубку послышался раскатистый хохот. Мирон Платоныч вопросительно взглянул на Яснова, пожал плечами, сказал угрюмо:

— Для вас смех, а для меня здесь...

— И для вас пока никакого горя нет,— перестав смеяться, ответил секретарь.— Приеду, поговорим — сами убедитесь. Добро?

— Да нет, Илья Николаич, что-то ничего доброго не видно... Вот разве что предложение мое примете. Вы слушаете? Рядом с Черным полем есть Заказ — обширная вырубка. Был там когда-то лес. И коли уж этот «Сахарстрой» печется о том, чтобы таборцы сладко ели-пили, пусть на этой вырубке свой завод и ставят. А площадь там большая, хватит.

Фомин ответил не сразу,— видно, размышлял.

— Задача наша, Мирон Платоныч, несколько шире, чем, может быть, вы ее себе представляете,— послышался наконец размеренный и, как видно, смягченный улыбкой голос секретаря.— Мы хотим, чтобы сладко ели-пили не одни таборцы, а весь советский народ. Не забывайте

этого. Что же касается Заказа — по-моему, тут есть над чем подумать. Завтра буду в обкоме, доложу о вашем предложении. Посоветуемся... Ну, как у вас почва, подсыхает?

— Дня через два пустим культиваторы.

— И прекрасно. А вы говорите, через ваш труп.

Мирон Платоныч криво усмехнулся, из трубки донеслись короткие гудки.

На некоторое время в кабинете воцарилось молчание. Яснов ждал вопроса. Знал: председатель сейчас чувствует себя неловко — нашумел, наговорил разных дерзостей.

— Ну, что у нас еще новенького? — глядя на висевшую на стене карту угодий, проговорил Мирон Платоныч.— Что наши? Я ведь сюда прямо со станции...

— Да особых новостей нет,— медлительно отозвался Яснов и метнул на председателя быстрый взгляд, в котором таилось лукавство.— Разве что вот сестрица твоя, Евдокия Платоновна, на пенсию собирается. А на ее место ваша Марись вызвалась пойти. Посоветовал ей подождать до твоего возвращения — ни в какую... Принимайте в свинарки — и конец. Ну и Евдокия Платоновна ее поддержала. Оформил.

— Марись — в свинарки? — Агафонов грузно откинулся на спинку кресла.— Час от часу не легче! Что это ей стукнуло в голову? Я думал послать ее учиться на агронома.

— Не знаю, не знаю... Кем, говорит, хочу, тем и буду, и никто, говорит, мне не запретит пойти в свинарки. Сегодня, наверное, уже работает.

Мирон Платоныч фыркнул, словно кот, которому под нос насыпали табаку.

— Смотри-ка ты.

Встал из-за стола, прошелся по кабинету. Взял со стола фуражку, плотно натянул на облысевшую, круглую, как арбуз, голову. Уже взявшись за дверную ручку, сказал:

— Увидишь бригадира Парфенова, предупреди, что завтра поедем на огородный участок.

Домой возвращался по Коммунистической улице. И опять люди выглядывали из окон, здоровались, встречные пожимали руку, спрашивали, как оно там, на курортах-то отдыхалось. Солнце клонилось к закату, но все еще ощущалось его тепло. В ветвях ветел, только-только начавших обливаться легкой прозрачной зеленью, шуршал ветерок, раскачивал грачей, а те, чтобы сохранить равно-

весие, поминутно распахивали смоляной черноты крылья.

— Держись за воздух, братцы! — весело посоветовал им Мирон Платоныч. Он любил грачей. Весенняя птица, полевая.

Шел и присматривался к домам, к хозяйственным постройкам... Может, конечно, Табор и не так красив, как, скажем, карпатские села или, чтоб далеко не ходить, те же Ольховое Озеро да Сто Родников. Есть еще избы, крытые соломой, по-современному широких окон да веранд тоже не видать. Нет Дворца культуры (вместо него — небольшой клуб), нет электрического освещения. Но и людей, которые бы прозябали в нужде, жаловались на жизнь,— тоже нет. У каждого в амбаре запасы зерна — пудов на сто, никак не меньше, на дворе полно всякой скотины и птицы...

«А что еще крестьянину надобно?—запальчиво задал вопрос Мирон Платоныч неизвестному оппоненту. И сам же ответил: — Ничего.»

Глава четвертая

Вечером на танцы к клубу Якку отправился вместе с Аврамом. После его откровений у Якку отпало желание тащиться с ним туда, где будет Марись, но — обычай. Неписаный закон требовал, чтобы приезжий парень приходил на игрища только в сопровождении приятеля из здешних, таборских. А заявишься один да, мало того, обратишь слишком пристальное внимание на какую-нибудь здешнюю властительницу дум, могут наставить синяков. Обычай этот давно бы умер, но в селе имелось несколько парней, любителей рукопашной,— на них-то он и держался.

Попутно зашли за Кузьмой Енчиковым. Кузьма был парень бойкий, что называется, на все руки и к тому же имел среднее образование. После десятилетки он подал заявление в пединститут. Такой поступок многих удивил, в том числе, пожалуй, и самого Кузьму, ибо в школьные годы все его педагогические способности ограничивались раздаванием подзатыльников на переменах ученикам младших классов. И, скорее всего, он же первый и вздохнул облегченно, когда провалился на экзаменах. Кузьма возвратился домой, окончил курсы шоферов, стал водить колхозный грузовик, и теперь уже никакие силы не смог-

ли бы вернуть его на педагогическое поприще. Тем более что благодаря своему баяну, видной внешности и умению говорить комплименты, среди девичьей части таборского населения пользовался он таким уважением и почетом, какого педагог вряд ли дождется, даже если доработает до пенсионного возраста. Но как это ни странно, подружки у Кузьмы не было. Все девушки казались ему одинаково хороши и одинаково плохи. Его помыслы и страсти относились совершенно к иной области жизни. Он любил покупать дорогие вещи, и потому копил деньги. И, само собой, не упускал случая, чтобы их раздобыть. Во время рейсов в город набивал полный кузов пассажирами — в основном это были хозяйки, везущие на продажу овощи, фрукты, молоко и сметану. Однажды даже с Якку, своего школьного приятеля, содрал рубль. Правда, денег он не спрашивал, но когда Якку протянул ему — не отказался. Почти весь свой заработок он клал на сберкнижку. Иногда делал крупные покупки. Знаменитый его баян и был первой такой покупкой. Второй — был мотоцикл. С той поры прошло порядочно времени, и говорили, что у Кузьмы на сберкнижке уже набралось больше тысячи. Какой покупкой удивит Кузьма односельчан на сей раз?

А вот к одежде Кузьма был равнодушен. Носил постоянную вельветовую куртку и кирзовые сапоги. И сейчас вышел на улицу в той же куртке. Вышел и, растянув мехи баяна, взял первый аккорд. И сразу там и тут к окнам приникли молодые и старые — как же: первый парень на деревне пошел! И все, кто присоединялся к Кузьме по дороге, чувствовали, что и на них падает отблеск его славы.

Пожалуй, один Якку с полным безразличием относился к Кузьме и к его славе... Пока на пятачке около клуба шли игры и танцы, он все глаза проглядел, ожидая, не покажется ли в конце улицы Марись.

«Почему ее нет, уж не заболела ли?» — забеспокоился Якку. И тут за спиной услышал голоса девушек: «Ты что опаздываешь, Марись? Давай сюда, к нам...»

Оглянулся — Марись уже стоит в окружении подруг. Почему же она с другого конца пришла? И одета не для игрищ: резиновые сапоги с отвернутыми голенищами, черный ватник, голова закутана в платок.

Подойти, что ли? Или ей будет неудобно при подругах?..

Якку все же решил подойти и даже сделал шаг в сто-

рону Марись, но тут Кузьма заиграл вальс «Дунайские волны», и около Марись — когда он только успел, еким-меким,— очутился Аврам. Они закружились между другими парами. Танцевал Аврам лихо — это Якку, как ни горько, вынужден был признать. Марись так и порхала вокруг него, казалось, что ноги ее не касаются земли,— вся легкая, как снежинка или пух одуванчика.

Якку не умел танцевать, и когда Марись кружилась с другими, его это нисколько не трогало. Только сейчас он в полной мере почувствовал неудобство от своего неумения. Он закурил, но во рту уже было горько от табаку, бросил недокуренную папиросу, затоптал ее и сел рядом с Кузьмой на бревна. (Лежали эти бревна, здесь с прошлого года. Их привезли, чтобы расширить клуб, но все руки не доходили.) Настроение у Якку быстро портилось. Это отразилось на его лице, как в чистом зеркале. Кузьма, мельком взглянув на Якку, затем на Марись и Аврама, мгновенно разобрался в ситуации и, сжав мехи, оборвал вальс на середине такта.

— Дай закурить,— подмигнул он Якку, а сбившимся в кучу танцорам объявил: — Мусью, прошу дать отдых прекрасным дамам!

Якку дал Кузьме папиросу, взглядом нашел в сгустившихся сумерках Марись и Аврама. Они стояли чуть в стороне от пятачка. Стараясь не дать места сомнениям и колебаниям, Якку встал и решительным шагом подошел к ним. Вот так! Победа, хоть и маленькая, одержана.

— Слышишь, а я Марись сразу узнал,— улыбаясь победно, обратился Аврам к Якку. И — к Марись: — Ну неужели не помнишь?

— Нет,— покачала головой Марись.

— Жаль, весьма жаль... А впрочем, давайте познакомимся заново: Аврам Линьков, студент, в настоящее время исполняющий обязанности колхозного зоотехника.— Он повернулся к Якку и скорчил притворно горестную физиономию: — Ведь это ж надо! Так быстро забыть! O, tempora!

— Чего? — не понял Якку.

— Я сказал: «О времена!» Латынь,— снисходительно объяснил Аврам.

— А-а,— неопределенно протянул Якку и посмотрел на Марись, стараясь определить, какое впечатление произвела на нее ученость приятеля.

Кузьма Енчиков, должно быть, кончил курить — сно-

ва послышались звуки вальса. Других танцев, кроме вальсов, Кузьма не играл, не научился. Потому-то в Таборе и танцевали одни вальсы.

Аврам галантно поклонился и протянул Марись руку, приглашая на танец. Марись улыбнулась, подняла на Якку глаза. Он, заметив ее испытующий взгляд, отвернулся, сделав вид, что его интересуют танцующие пары. Безразличие его было шито белыми нитками, даже вздох он не сумел подавить.

— Я устала, Аврам,— сказала Марись.— Да и одета не для танцев. Домой надо идти.

— Давай тогда... провожу,— сказал Якку и на последнем слове голос его сорвался... Черт! Ведь этак Аврам обо всем догадается... Ну и пусть, зато Якку одержал над собой еще одну маленькую победу.

Они распрощались с Аврамом, оставив его на попечение Кузьмы, и пошли по Коммунистической улице.

Было уже около полуночи. Заметно похолодало, и Марись зябко ежилась. Когда поравнялись с ее домом, она даже шаг не замедлила, и у Якку теплой радостью обволокло сердце — она хотела побыть с ним. Около нового сруба Микиты Каткова они остановились. От сруба пахло смоляным летним бором. Из-под ног шарахнулись кошки.

Якку близко видел глаза Марись, темные сейчас и синие-синие днем, родинку с чечевичное зернышко на левой щеке, большие губы... Наверное, вкусно целовать их... и родинку тоже... и глаза... Но как поцелуешь? Может, Марись неприятно? Наверное, неприятно, не такой уж он, Якку, красавец... Вот бы как-нибудь тайно узнать, что они, девчонки, думают по этому волнующему вопросу? У других все просто. Вон Аврам — тот, не задумываясь, полезет целоваться. А Якку не может... Боится обидеть Марись, что ли? С прошлого лета они «встречаются». И осенью и зимой чуть ли не каждый вечер вместе. Сколько переговорено! А спроси Якку, о чем говорили,— не скажет. Не помнит. Ну, о прочитанных книгах? О работе? О будущем Таборе и деревни, как таковой вообще? О лесах? О планетах? Возможно. Возможно, обо всех перечисленных вещах, а возможно — совершенно о других. От встреч с Марись оставались не разговоры, а запах ее волос, тепло ее рук, гладкость ее кожи, блеск ее глаз. Память о ней хранили чувства,— можно подумать, что и весь мыслительный аппарат его ушел в чувства.

Слова мало что значили в их отношениях. Возможно, это потому так было, что Якку еще ни разу, даже намеком, не обмолвился о своих чувствах.

Привалившись плечом к срубу, они долго молчали. Якку мог бы молчать и до утра, да вот некоторые более опытные его приятели считали, что парень непременно должен занимать девушку разговором, и чем у него бойчее язык, тем скорее он может рассчитывать на взаимность. Такую закономерность Якку не мог понять. Неужели девушкам нравятся трепачи? И тогда неужели Марись под стать всем прочим? Но, хочешь не хочешь, а разговаривать надо. Хорошо еще, что повод есть.

— Ты откуда в таком наряде? Да и опоздала.

— Угадай! — весело блеснула глазами Марись.

— Воду, что ли, решетом носила? — живо нашелся Якку. (Вот странность: наедине с Марись ему никогда не надо лезть за словом в карман.)

— Сам ты решетом носил... А я на свиноферме работала. Я теперь свинарка.

Она улыбнулась, приоткрыв губы, показывая два ряда белеющих в темноте зубов. Якку смотрел на нее, не зная что думать. Разыгрывает, что ли? При чем тут свиноферма, ведь в институт летом должна ехать...

— Не пойму что-то... Подменяла кого-нибудь?

— Нет, на постоянную работу перешла. Макар Макарыч собирается расширять свиноферму, ну вот я и решила...

— Ну и придумала, еким-меким! А учиться? Ты же хотела стать агрономом...

— Во-первых, это не я хотела, а папа. Во-вторых, учиться можно и заочно. А в-третьих...

— Начиталась книжек про десятиклассниц, которые идут в свинарки и доярки...

— ...и про парней, которые идут в дояры и свинары,— заливисто рассмеялась Марись.— Кстати, на ферме требуется еще один человек. Желательно — мужчина.— Она выдержала паузу и, не дождавшись ответа, продолжала:— Знаешь конюшню, как на станцию идти? Она почти пустая стоит. Лошадей переведут в другое место, а там будет свиноферма. И большая. Пока одна вакансия имеется, можешь подавать заявление.

Она ткнула его кулачком в грудь, он поймал ее руку и почувствовал, как мурашки пробежали по спине от желания поцеловать ее. Она освободила руку:

— Так что же молчишь? Пойдешь к нам на ферму? Или так до старости и будешь сидеть на складе?

Упоминание о складе больно укололо Якку. На ферму, на ферму... Ну при чем тут ферма, когда он вынашивал совершенно другие планы? Он привык к мысли, что Марись поедет в город, а он — следом за ней. Она будет учиться, а он — работать. Подкопит денег и на месте дедовской покосившейся щелястой избы поставит новую. Как раз к тому времени, когда Марись вернется в село агрономом. И хотя он понимал, что в город не уедет, все равно уже свыкся со своей мечтой о городе, с надеждами, которые с городом связаны. И вдруг нате вам — рисуется совсем другая картина. Никакой учебы, никакого города. Ну хорошо, пойдет он свинарем... А изба? Поживи-ка в ней, когда она тепла совсем не держит, углы промерзают. А мать и так больна. Да и вообще... Где им с Марись жить, если они... скажем... поженятся? Для постройки нового дома надо несколько тысяч. Где их взять в колхозе? То, что полагается по трудодням, удерживают за распашку огорода, рытье картошки, за подвозку дров — да мало ли... А за пшеницу много не выручишь — она нынче дешевая... Это надо несколько сотен пудов заработать, одному не под силу. Вот и поворачивайся, как знаешь... И так плохо, и этак нехорошо. У Марись, конечно, дело другое. Ей что в свинарки, что в студентки, что в городе, что в селе — одинаково на всем готовом. А ему надо крепко умом пораскинуть. Уж коли оставаться в деревне, так лучше поступить рабочим в геологическую партию, что производит изыскания на Черном поле. Слыхать, будто набирают они людей...

— Не знаю, что и сказать,— промолвил Якку.— Непривычно как-то... Всегда на свиноферме женщины работали... Я... знаешь... подумаю.

— Ну, думай,— сказала Марись и поежилась.— Ой, я совсем продрогла. Пойду, ладно?

Якку лишь вздохнул. У калитки пожал Марись руку. Маленькая с тонкими пальчиками рука была хрупка, как у ребенка. Подумал: достанется ей с такими ручками на свиноферме.

Шагнув за калитку, Марись обернулась:

— Да, совсем забыла: завтра я поеду в Сто Родников посмотреть, как там поставлено дело на ферме.— Улыбнулась задорно.— Вот работали бы вместе, вместе бы и поехали. До свидания.

Она захлопнула калитку, и Якку услышал, как под ее ногами скрипнули ступеньки крыльца. Потом стукнула дверь, и через некоторое время осветилось выходившее во двор окно кухни. Якку все стоял на месте и поверх плетня смотрел на это заветное окно. Марись, верно, собирается поужинать... Было чувство неудовлетворенности от встречи, точно они поссорились. А ведь не ссорились... Отчего же это чувство? Зря он там бормотал что-то насчет непривычки, насчет того, что подумает... Неискренне получилось, а всякая неискренность чугунной гирей оседает на душе. Сказать бы все и про нужду свою, и про необходимость заработать на новую избу, и все-все... Да как скажешь? Жена она твоя, что ли? Может, ей, и слушать вовсе неинтересно. Якку отошел от плетня и побрел домой.

Тихо было на селе. Только со стороны клуба еще доносились звуки баяна.

Сестра отца Евдокия Платоновна Калашникова или, как называла ее Марись, тетя Евдук, навещала брата куда реже, чем это принято между близкими родственниками. Тому была причина: редкий разговор между братом и сестрой не кончался ожесточенным спором и размолвкой. При этом Марись замечала, что отец выходил из себя куда легче, нежели тетя Евдук, и вообще он, кажется, побаивался сестры, и если разговор начинал обостряться, старался перевести его на другое. Но удавалось это редко, потому что говорили они обычно о самом близком, самом главном в их жизни — о колхозных делах. После размолвки брат и сестра подолгу не ходили друг к другу. Первой руку примирения по своей женской отходчивости протягивала тетя Евдук. Однажды она заходила к ним вечерком как ни в чем не бывало, ей были рады, сажали ужинать, пить чай. И тут все начиналось сызнова.

Обычно тетя Евдук заводила разговор о делах на скотном дворе, на свиноферме, где работала сама. Затем понемногу распаляясь, начинала поругивать животноводческие помещения, некачественный корм, упрекать председателя в том, что он не заботится об улучшении породы скота, увеличении поголовья... Ему бы один хлеб производить, но посевной площади у колхоза немного, а значит, даже и при высокой урожайности, доходы-то с гулькин нос. Разведение же скота, особенно свиней, ежели дело поставить с размахом, озолотить может колхоз.

И дома себе колхозники смогут новые построить и электричество провести. Под соломенную крышу его не проведешь — чудно больно!

Отец сначала посмеивался над словами тети Евдук, но по мере того как все весомей становились ее аргументы, темнел лицом.

— Уж про что про что, а про свиней-то помолчала бы! — вспыхивал он, швыряя ложку на стол.— Какой от них прок? Хлеб жрать? Дай волю — весь сожрут. Да ладно бы — навоз давали! А то что? Пшик! Тоже, економист нашелся...

Но мудрено было переспорить тетю Евдук. Не только за словом, и за цифрой в карман не лезла. Если столько-то можно выручить от продажи свинины, то при такой-то цене на удобрения самых высших кондиций можно купить их нужное количество, после чего останется еще круглая сумма чистого дохода.

Правота тети Евдук казалась Марись столь очевидной, что она перестала понимать отца. Почему он не видит явных выгод свиноводства? Не хочет видеть? Правильно сказала тетя Евдук, когда они поругались последний раз: «Хлеб тебе очи застит, Мирон, тютькаешься с ним ты, право, как младенец с лялькой... А колхоз от этого, как инвалид, на одной ноге прыгает, костылем подпирается...» Ох как взъярился отец тогда! Тетя Евдук уж и спорить больше не стала, ушла от греха. Отец вскоре уехал в санаторий. Без него тетя стала наведываться чуть ли не каждый день. Подолгу разговаривала с Марись, рассказывала ей о свиноферме, о том, каким цветущим можно бы сделать таборское хозяйство, кабы в несколько раз увеличить поголовье свиней да работников найти настоящих, молодых, увлеченных делом.

Такие работники по нынешним временам стоят иного ученого агронома, потому что своими руками страну кормят.

Марись понимала, к чему клонит тетка. Она, Марись, и не против бы стать свинаркой, да как же не спросившись отца? Привыкла полагаться на него, доверять его опыту, наконец, просто слушаться.

Незадолго до приезда отца тетя Евдук, явившись не вечером, как всегда, а днем, сказала, что была у врача. Сердце побаливает, иной раз так схватывает — света белого не видишь. Врач велел выходить на пенсию. У вас, говорит, не только годы вышли, а главное — и силы. Одно

остается: придет вот сын Иван с военной службы, женится, внуков няньчить будет...

— Совсем работать некому,— махнула рукой тетка и взглянула испытующе на Марись.— Может, пойдешь вместо меня на свиноферму? Расширять ее собираются.

Марись опустила глаза — не знала, что ответить.

— Ну, что молчишь? — посуровел теткин голос.— Все на отца перекладываешь — пусть, мол, за меня решает... Чай, не маленькая,— девятнадцать годиков, невеста уж. В войну такие-то девки на фронте воевали да в партизанах. Отцов не спрашивались,— знали, что делать. Оно и теперь, хоть, положим, и мирное время, а все равно — борьба. Ты вырасти-ка ее, свинью-то,— дело не легкое. Вот и пойди, где трудно. Не бойся работы-то. И сама себя уважать начнешь, и от людей почет будет...

Уговорила тетка. Первое время помогать обещала. И верно, нынче весь день провела с Марись на ферме. Велела завтра же съездить в Сто Родников, поглядеть денек на работу тамошних свинарок.

...Войдя на кухню, Марись зажгла лампу, взглянула на часы: ого, четверть двенадцатого! Было тепло, тихо! Уютно тикали стенные ходики, помахивая медным диском маятника.

Марись скинула ватник, сняла резиновые сапоги, сунула захолодевшие ноги в старые, нагретые на печке валенки и улыбнулась от полноты удовольствия. В зеркале, что висело рядом с рукомойником, она увидела свое отражение. Лицо было розовато от холода. Особенно щеки и нос. На язык так и просилась фраза из какого-нибудь классического романа прошлого века. «На ее хорошеньком раскрасневшемся личике оживленно блестели синие глаза». А что, она и вправду хорошенькая... Нос чуть вздернут, и если слегка закинуть голову, получается этакая задорная, огневая девчонка. Просто жаль даже, что она не снимается в кино. А если распустить косы, и так вот, по-модному, сбросить локоны, чтобы ниспадали, касаясь щек, и чуть наклонить голову, то... ей богу, можно самой в себя влюбиться! Надо будет как-нибудь дать возможность Якку посмотреть на нее, когда локоны распущены. И чтобы голова в таком же положении... Не утерпит, пожалуй, поцелует... А может, и нет, ведь он такой робкий. Но когда-нибудь ведь должен же поцеловать... Он уже иногда кладет руки ей на плечи, а иногда берет даже за талию...

Марись приблизила лицо к зеркалу. И губы у нее красивые, просто созданы для поцелуев. Алые, толстенькие, точь-в-точь как в книгах пишут: «У нее были полные чувственные губы». У Якку вот здесь на нижней губе маленький шрамик, и когда они станут целоваться, то верхняя губа Марись как раз этот шрамик накроет...

— Ты чего щупаешь губу-то? Аль сбе́дила чем?

Марись отдернула от губы пальцы, будто от раскаленного утюга. На пороге стояла мать с блюдцем холодца. Лицо девушки залилось румянцем — ей показалось, что матери известны ее «стыдные» мысли.

— Где это тебя до ночи носит? — проворчала мать.— Отец приехал, а ее дома нету.

Утро выдалось солнечное и тихое. Дым из печных труб столбами вздымался к небу.

С ощущением необыкновенной душевной легкости вышла Марись из дому. Она так боялась встречи с отцом... Но все обошлось. Вчера он говорил с ней ласково, ни словом не упрекнул за самовольное решение поступить работать на свиноферму, вместо того чтобы усиленно готовиться к экзаменам в вуз. Понимал, конечно, тетя Евдук приложила руку. Спросил только, как же будет с учебой? Марись ответила, что думает поступать на заочное отделение.

А сегодня, узнав, что дочь должна ехать в Сто Родников, разрешил ей взять лошадь. Вызвался даже зайти на конюшню и оседлать ее.

Тетя Евдук уже поджидала Марись на ферме. Узнав, что Мирон Платоныч спокойно и чуть ли даже не благосклонно отнесся к «своевольству» дочери, заулыбалась довольная.

— Господи, да ведь я другого-то от него и не ждала. А то, чай, стала бы тебя под монастырь подводить? Он, братец-то мой, разумен, ой, как разумен! Не зря который год в председателях ходит... Ну, только что горяч бывает да упрям. Тут уж характер,— его не переделаешь.

— Здравствуйте, товарищи!

В воротах свинарника, щурясь от света, стоял Аврам Линьков. На нем была вчерашняя зеленая шляпа, щегольская куртка из синтетической ткани. Марись поздоровалась, познакомила Аврама с теткой, сказала весело:

— Приятно видеть такое усердие у практиканта. Чуть свет — уже на ферме...

— Воспитание,— в тон ей ответил Аврам.— Я, собственно, за вами Мария Мироновна...

— За мной? — Громоздко-почтительное обращение по имени и отчеству рассмешило Марись.

— Да. Слышал, вы едете в Сто Родников.

— Ага. Верхом... Вас подвезти?

— Ну, нет,— засмеялся Аврам.— Это я хотел вас подвезти. На мотоцикле. Мне Енчиков дает... Надо повидаться с родителями, ведь я родом из Ста Родников. Заодно и подвез бы. Зачем вам трястись на какой-то кляче?

— Хорошо,— согласилась Марись.— Когда поедем?

— Приходите в семь к пожарке.

В назначенный срок Марись пришла к пожарному сараю. Здесь ее дожидались Аврам и Кузьма Енчиков. Кузьма что-то наказывал приятелю, тыча пальцем то в один, то в другой узел мотоцикла.

— Да будь спокоен, что я, первый раз на мотоцикл сажусь? — заверил его Аврам и, оседлав машину, кивком головы указал Марись на заднее сиденье. Завел мотор и стал сразу важным и сосредоточенным.

— Держитесь крепче,— предупредил он пассажирку, и не напрасно, потому что, оглушительно взревев, мотоцикл вдруг рванулся с места и даже подскочил от излишней прыти. Затем на несколько мгновений замер на месте, словно собираясь с силами, и пулей вылетел на дорогу.

— Эй, что творишь?! — закричал отчаянным голосом Енчиков.— Сцепление сорвешь!! Кабы знал...

Стук мотора отрезал конец фразы, но смысл и так был ясен: «не дал бы». И если бы не дал — это Марись не удивило бы. На свой мотоцикл Кузьма только что не молился и сам-то на нем ездил не часто. Видно, язык не повернулся отказать городскому гостю, да к тому же бывшему школьному товарищу, да еще будущему ученому зоотехнику.

Выехав из села, Аврам дал газ, и вскоре машина вынесла их на асфальтированное шоссе или, говоря по-местному, на большак. Теперь помчались «с ветерком». У Марись дух захватило, когда телеграфные столбы замелькали, будто частокол. Позади остался мост через речку Цильну. Аврам сбавил скорость, свернул вправо, на тропу, ведущую в Сто Родников через луга, проехал немного, заглушил мотор.

— Пусть малость поостынет,— сказал он, покидая сиденье,— а мы перекурим.

С непонятной усмешкой близко заглянул в глаза Марись и помог ей сойти. Затем поставил мотоцикл на опору, вынул пачку папирос, протянул Марись:

— Курите.

— Еще не научилась.— Марись в улыбке показала белые плотные зубы.

— И не учитесь. В городе много курящих девушек, но мне они не нравятся.

— А если девушкам не нравятся курящие парни?

— Значит, не любите, когда курят? Все,— не курю. Ваше желание для меня закон.— Аврам сунул обратно в пачку папиросу, которую собрался было закурить, положил в карман спички.

— Ну что это вы?.. — совсем растерялась Марись.— Я же так... Мне все равно, курите.

Вот чудак... Что ей до него? Не в одной же с ним комнате жить?

— Тогда все ясно, вопросов не имею,— подчеркнуто упавшим голосом проговорил Аврам.— Придется закурить, если вам все равно.

Молча выкурил папиросу, бросил окурок в лужу, неопределенно сказал: «Вот так»,— и начал заводить мотоцикл. С тропки выбрались опять на большак — напрямую через луга можно было и не проехать, если в низинах еще стоит вода.

Аврам остановился около большого, непривычного для села восьмиквартирного дома. Здесь жили его родители. Таких домов в Ста Родниках было за последние годы построено немало. Они заметно изменили облик села,— теперь оно выглядело как рабочий поселок или пригород.

Марись не захотела зайти к родителям Аврама, сославшись на то, что спешит попасть на ферму. Тогда Аврам попросил подождать его минут пять и скрылся в подъезде. Возвратился он еще раньше и отвез Марись в животноводческий городок.

Это и на самом деле был маленький городок, раскинувшийся на берегу Свияги. Помещения для скота почти все выложены из камня, в деревянных же полы все равно каменные. В центре городка высилась водонапорная башня, она снабжала водой не только фермы, но и село. В коровники, свинарники, на кормокухню тянулись провода. На электроэнергию здесь не скупились, зато не было и тяжелых ручных работ.

Марись прежде всего интересовала свиноферма. Со-

стояла она из двух обширных помещений. В одном содержались супоросные матки с поросятами, в другом — свиньи, предназначенные на откорм. Всего их было больше восьмисот голов. А на таборской ферме и сотни не насчитать.

Аврам разыскал зоотехника, которого, как видно, хорошо знал, отрекомендовал Марись, попросил показать ей «товар лицом». Зоотехник крикнул бригадира, который, в основном, и давал Марись объяснения.

Когда они вошли в откормочное помещение, их обдало мелкой, как изморось, водяной пылью, слышалось шипение воды. Приглядевшись, Марись увидела девушку в комбинезоне, которая поливала из брандспойта каменный пол,— видно, убиралась. Струей воды она сгоняла скопившийся возле кормушек навоз к центру свинарника. Когда это было сделано, в свинарник въехал трактор «Беларусь» со скребком, как у бульдозера, и выволок всю грязь вон из помещения. Грязную дорожку, оставшуюся после трактора, девушка также смыла струей воды. Пол в свинарнике блестел. На всю уборку ушло не больше десяти — пятнадцати минут. И справились с нею два человека. Два человека, которыми вообще ограничивался штат свинофермы. А на крошечной таборской ферме работали четыре человека. Да и те не управлялись. Потому что навоз выносили лопатами да вилами, а воду и корм таскали ведрами.

Марись вдруг сделалось досадно от того, что она приехала в Сто Родников, ходит по этим образцовым фермам и чего-то высматривает... Сколько ни высматривай — бесполезно. В Таборе ничего подобного сделать нельзя. Нет электроэнергии для механизированных кормушек, нет водопровода. И будет ли все это и когда именно — неизвестно. Зачем, спрашивается, Марись приехала сюда? Зачем настаивала на этой поездке тетя Евдук? И только на обратном пути, успокоившись немного, Марись поняла, зачем понадобилось тетке, чтобы она побывала в Ста Родниках. Чтобы знать, чего надо достигнуть, чтобы с самого начала не мириться с постановкой дела у себя дома, не привыкать к плохому. Что ж, тетушка правильно рассудила. Подобрать на ферму молодежь... Если Якку тоже придет, все вместе заставят председателя всерьез заняться животноводством. Отец — человек умный, противиться не станет. Хотя, конечно, без отговорок не обойдется.

До полудня Марись закончила знакомство со свино-

фермой. Аврам пригласил ее к своим родителям пообедать и, как она ни отнекивалась, настоял на своем.

В матери Аврама сразу можно было признать дочь старика Купцова. Выдавали фамильные черты: густые брови вразлет, широко поставленные глаза, крупные скулы. Старший Линьков был совсем в другом роде. Щуплый, ростом пониже своей жены (сыну едва доставал до подбородка), отличался он живым характером и неуемной доброжелательной общительностью. Возможно, развитию такой черты способствовала многотрудная его должность председателя сельпо. Тут, хочешь не хочешь, надо всех и вся знать, быть в курсе событий больших и малых. Пока Марись умывалась, он успел справиться о здоровье уважаемого Мирона Платоныча, спросить, довольны ли таборцы работой сельпо, нет ли жалоб персонально на него, а также на продавца тамошнего магазина, достаточно ли доставляется товаров. Узнав, что жалоб нет и таборцы в целом работой сельпо довольны, он счел необходимым объяснить свое любопытство.

— Знаете, Мария Мироновна, я критики не боюсь. В этом деле что самое неприятное? Внезапность. Когда тебя словно из-за угла палкой по голове... Вот был, к примеру, случай. Приезжаю в Чебоксары на семинар кооператоров. Повели нас на экскурсию в типографию. В наборном цехе подводят к линотипу. Экскурсовод объясняет: здесь, мол, набирается наша республиканская газета и сейчас можно будет даже получить оттиск заметки, которую набирают. Получаем оттиск, и что же? Заметка о недостатках в работе вверенного мне сельпо. Дескать, в магазинах покупателям навязывают к ходовому товару всякие нагрузки. У меня аж сердце зашлось — не ждал, не гадал! Товарищи смеются, а мне какой уж смех? Уж и не до экскурсии и не до семинара...

Хозяйка пригласила всех за стол. Марись начала было отказываться, но пришлось уступить настойчивым просьбам.

— Как понравились наши фермы? — завела хозяйка вежливый разговор.

— Очень хорошие,— скромно сказала Марись. Ее смущал улыбчивый и пристальный, полный непонятного значения взгляд хозяйки.

— Все так говорят,— расцвела мать Аврама и подвинула к гостье сметану, соль и перец.— И живут у нас, в Ста Родниках, слава богу, хорошо. Потому-то все невесты

и стараются сюда замуж выйти. А что ж — и правильно.

Аврам вдруг покраснел, будто лицо ему паром ошпарило. Не смея поднять глаз от тарелки, сказал:

— Полно уж, мама, кто это особенно из других сел вышел сюда замуж?

Он явно стремился придать предмету спора отвлеченный, так сказать, академический характер. Марись, хлебавшая суп, не чувствуя его вкуса, мысленно поблагодарила его.

— Как это кто? — не уступала между тем хозяйка.— Да взять хоть меня.

— Ну, в то время Сто Родников ничем не отличались от других сел.

— Отличались или нет, а выходить замуж в богатое село — хорошо, любой красавице присоветую...

— Может, скоро и у нас в Таборе будет не хуже,— вступила в разговор Марись, пытаясь переменить тему.— Вон у нас рядом сахарный завод собираются строить.

— Как же, как же — знаем! — подхватил Линьков-старший.— Я уже в районе поставил вопрос о расширении таборского магазина. И представляете, какие перспективы товарооборота...

Дальше он уже не смолкал до конца обеда.

На обратном пути Аврам не сумел преодолеть соблазна выскочить на большак кратчайшим путем через луга. И был наказан. В зарослях ивняка близ речки Цильны мотоцикл по самые ступицы завяз в непролазной грязи. На Марись были синие резиновые сапожки, она спрыгнула в грязь и начала подталкивать машину сзади. Мотоцикл яростно ревел, выпаливал тучи сизой гари, но с места не двигался. Аврам начал раскачивать его, наконец заднее колесо бешено завертелось и с ног до головы окатило Марись грязью. Она отскочила в сторону, оглядела себя и беспомощно ахнула. Хотела ведь ехать в рабочей одежде, так мать не пустила: как же так в чужое село, да кое в чем, да еще узнают, что дочка председателя? Нет-нет, надевай уж что получше. Вот, надела...

— Ого! Когда это ты успела так перепачкаться?! — вскричал Аврам, переходя незаметно для себя на «ты».— Что молчишь?

— Ладно, давайте лучше вылезать отсюда,— сухо сказала Марись.

Настроение Аврама кувырком покатилось вниз. Сам же окатил девушку грязью да еще спрашивает. Теперь она, конечно, рассердилась и вообще считает его пентюхом. Женщины ценят силу, ловкость, удачливость.

Исполненный решимости Аврам соскочил с сиденья, и его ноги в великолепных модельных ботинках цвета спелой вишни по щиколотки ушли в грязь. Это его не очень обескуражило, напротив, вселило чувство уверенности. Пусть он не очень силен, ловок и удачлив, но какая женщина не оценит мужской самоотверженности, широты натуры? Поставив мотор на самые большие обороты, Аврам всем телом навалился на мотоцикл. Заднее колесо, кропя грязью окружающий кустарник, продолжало бешено вращаться. Мотоцикл понемногу начал подаваться вперед. Вскоре он выполз на сухое место, и Аврам заглушил мотор. Утер со лба пот и выкатил машину на тропу.

— Дальше, по-моему, таких топей нет,— сказал он.

Марись промолчала. Маленьким платочком с кружевом по кромке она вытирала лицо, шею, руки... Покончив с этим и ни слова не сказав пошла вверх по берегу речки.

— Марись, куда же ты?..— забеспокоился Аврам.— Ты сердишься? Но я не нарочно... Ты уж прости...

— Я вовсе не сержусь.— Марись обернулась, и губы ее тронула улыбка.— Пойду умоюсь.

Настроение Аврама сразу улучшилось. Не сердится! Молодец! Умная девчонка! Без капризов и вздорности...

Желая оказать ей внимание, Аврам отвел мотоцикл к тому месту берега, где умывалась Марись. Снял и положил на сиденье шляпу, обтер травою ботинки, затем сбросил забрызганную грязью куртку, встряхнул, лепешки грязи остались там, где были. Аврам опять надел куртку. Спустился к воде, опустился рядом с Марись на прошлогоднюю, похожую на мочало траву, закурил.

Марись закончила умывание, промокнула лицо головным платком — носовой был испачкан еще давеча,— повязалась им же и хотела было идти, но Аврам поймал ее за руку и усадил рядом с собой.

— Отдохнем перед последним броском.

Вся внутренне напрягшись ждала Марись, что будет дальше. А что будет что-то — это она чувствовала. Конечно, лучше всего встать бы да уйти. Но какой-то бес не давал поступить благоразумно, нашептывал: подожди,

ведь интересно же, что он скажет и, главное, как скажет, какими словами и что при этом сделает.

Аврам попытался заглянуть ей в глаза, но она упрямо отводила взгляд. Он знал, что глаза у него красивые — большие, голубые... И смотрит он по-особенному — с прищуром сквозь длинные ресницы. Это должно придавать взгляду мужчины загадочность и опытность — и пугает и привлекает.

— Можно я буду называть тебя — Марись? И давай на «ты». Мы ведь с тобой не вчера познакомились.

— Пожалуйста.

— Знаешь, мне после того как хотелось увидеть тебя...

От фразы к фразе голос Аврама становился все тише, и все явственнее слышались в нем грустные ноты.

— После чего? — спросила Марись, хотя сразу догадалась, что Аврам имел в виду их давнишнюю встречу на игрищах и тот полудетский поцелуй...

— Ну после того... когда мы... словом...

— Я тогда ребенком еще была.— Марись сорвала былинку и сунула в рот.— Да и ты тоже.

— А сейчас могло бы тогдашнее повториться?

— Сейчас?

У Марись зарумянились щеки. Вот всегда так. Не умеют парни разговаривать с девушками. Сразу ставят вопрос ребром. А Марись любит вести разговор с полунамеками, недоговорками, многозначительными паузами. От такого разговора в груди жарко делается, и потом, с подружками, до озноба интересно обсудить каждое слово, сказанное парнем. А что интересного отвечать прямо на прямо поставленный вопрос? Будто анкету заполняешь... Вот Якку — с ним хорошо. Он любит Марись, она это знает, хотя сам Якку никаких признаний не делал. Тих, ласков... А скромен, как девушка.

— Что же ты молчишь? — снизив голос до шепота,— такая мера обычно действовала неотразимо,— проговорил Аврам.— Или молчание — знак согласия?

Он взял ее за руку, но Марись освободилась и неожиданно сама взглянула ему в глаза.

— А что говорить? — с усмешкой сказала она.— По-моему, и так все ясно. До вчерашнего дня мы с тобой встречались один только раз, да и то пять лет назад.

Огорченный Аврам самолюбиво отвернулся. Ему-то казалось, что дело сделано, сердечко девичье не устояло, растаяло. А она вон какова! Робости как и не бывало.

Обычно на подобные его вопросы девушки отвечали что-нибудь вроде: «На таких, как мы, вы и смотреть-то не станете». Эта же себе цену знает. Рассуждает разумно, трезво. Да, девушка не из простушек. Что же, тем лучше, коли она не только красива, но и умна.

— Значит, напрасно я мечтал? — упавшим тоном проговорил Аврам, не поворачивая головы.

— О чем мечтал?

— О чем, о чем... Ты знаешь о чем. Вернуть бы назад то время... Неужели ничего не помнишь?

— Да что же помнить? — простодушно удивилась Марись.— Как целовались у калитки? Глупы были.

— Теперь бы это не повторилось?

— Нет.

— Якку?

— Кто бы ни был, а нет,— и все тут. Ну что, поедем?

— Поедем, поедем...

Аврам хотел схватить Марись за руку, но она ловко отпрянула и вскочила на ноги.

— Поехали, Аврам, а то я пешком пойду.

Аврам нехотя встал, ленивой расслабленной походкой пошел было к мотоциклу, но, поравнявшись с Марись, вдруг неожиданно быстро обнял ее за плечи, в нос ей ударил запах табака и крепкого одеколона. Марись успела выставить перед собою руки и что было силы толкнула его в грудь. Аврам отшатнулся, но устоял. Оступив на несколько шагов, Марись засмеялась, желая смягчить свою невольную грубость.

— Сильна-а,— восхищенно сказал Аврам.— Чемпион мира по вольной борьбе. Оттого, верно, и шуток не понимаешь.

— Иные шутки лучше не понимать,— с улыбкой отразила выпад Марись.

«Хороша девушка,— подумал Аврам,— а достанется какому-нибудь тихому олуху...»

Мотоцикл резко взял с места и, солидно урча, покатил по тропе.

Допоздна Марись задержалась на ферме, потому на танцы к клубу попасть ей не удалось. Между тем двое поджидали ее, две пары глаз высматривали ее то в одном, то в другом конце улицы.

Дома за ужином отец начал выражать недовольство по поводу строительства сахарного завода.

— Секретарь райкома все выгоды сулит,— ворчал он.— Выгоды, они когда еще будут, да и будут ли, а убытки налицо. Мало того что землю из рук рвут, так еще и людей сманивают. Якку Урнекеев, ухажер-то твой, сегодня заявление подал, просит освободить его от должности кладовщика. Спрашиваю: куда ж, мол, определиться желаешь? В геологическую партию, говорит, пока изыскания идут, а там — в строители. Вот оно как... Вырастили, можно сказать, парня, на ноги поставили, так он теперь — «до свидания»...

Марись выслушала отца с каменным лицом, но в душе ее поднялась целая буря. Она привыкла думать, что Якку никогда ничего не скрывает от нее, что он всегда искренен. А он вчера даже не заикнулся о своем намерении уйти на стройку. Не счел нужным. Обещав подумать насчет фермы, попросту обманул. Выходит, она для него совершенно ничего не значит? И ее уверенность в том, что он ее любит,— заблуждение?

Обида, злость, ревность — все эти чувства соединились вдруг в сердце. Щеки сделались горячими, будто жгло их изнутри, туманом заволокло глаза, и шершавый комок застрял в горле. Боясь расплакаться за столом при родителях, Марись встала и вышла из кухни.

Глава пятая

— Мигиш! А Мигиш! Да куда ж ты провалился-то,— зову, зову?..

— Ну, чего зовешь? Ну здесь я... Пожар, что ли?..

— Прухха вернулся. Словно с шахты [1]— с чемоданами да с мешками. В нашу сторону даже и не взглянул. Уж не разбогател ли?

Старик Купцов выпрямился, снял рукавицы, утер вспотевший лоб, оглядел еще раз ульи, яблони, которые пора было белить да окапывать, кусты смородины, клубничные грядки. Дéл — вздохнуть некогда. И черт его угораздил поехать торговать картошкой... Думал, умней всех,— вот и получил по зубам. Э-хе-хе! Годы берут свое, годы. В

[1] В былые времена многие жители села ради заработка ездили сезонниками на шахты.

молодости его бы голыми руками не взяли. И тогда тоже случались ухари. Еще и позвончей нонешних... Заткнув рукавицы за столб плетня, Мигиш Купцов прошел через калитку во двор и предстал перед женой.

— Ну, так что там Прухха? С чего взяла, что разбогател?

— Да как же, коли насилу тащит чемодан-то... Запыхался, а от самого пар валит, словно на нем пахали.

— Ладно, коли так.

Из кадки, что стояла около колодца, Мигиш сполоснул руки, лицо, утерся вынесенным женою полотенцем. Взглянул на нее равнодушно, бросил полотенце ей на плечо. Когда-то была она красивой ядреной молодицей, а теперь совсем старухой стала. А привычку выносить ему полотенце во двор сохранила с первого года замужества.

Обломком деревянного гребешка причесавши волосы, не по-стариковски темные и густые, вышел Мигиш на улицу.

Прухху увидел еще издали. Тот сидел у себя на крылечке, отдыхал,— видно, и впрямь приехал, огрузившись добром-то. Ну, правильно — вся рожа в грязных полосах от пота, даже и умыться еще не успел. У ног его лежал мешок, набитый чем-то мягким. Значит, чемодан только успел занести в избу и тут же вышел. Интересно, чего ж это он в чемодане-то приволок?

— Здорово, компаньон,— усмехнулся Мигиш, садясь на мешок (наметанным взглядом определил: набит мешками же).— Где пропадал? Разбогател, сказывают. Куды чемодан-то с добром девал?

— Полно дурачком-то прикидываться,— мрачно отозвался Прухха.— Ежели кто и разбогател, так это ты. Машину картошки загнал все же? Так? Да кадушка меду была...

— Не знаю уж, люди говорят: явился, мол, Прухха с чемоданом, насилу тащит...

— Чемодан-то Мирона Платоныча. Помог ему со станции донести.

— Вернулся он?

— Вместе шли.

— Спросил, куда ездил?

— Чай, он не дурак, сам догадался. Только на одежу глянул.

— Что со мной ездил, сказывал ему?

— Опять без моих сказов угадал.

— Врешь, разболтал, чай... Язык-то у тебя что помело. И что ж он?

— Да что? Посмеялся над моей коммерцией, дурнем обозвал,— и правильно. Еще вот как с Санькой, не знаю...

— Ну уж это ты как знаешь. А мне верни, будь друг, деньги, что брал.

— Какие... А-а...

Прухха совсем пал духом, и тяжкий вздох вырвался из его груди. Когда уезжали, он под будущие баснословные доходы занял у Купцова тридцатку. А теперь собственных денег в кармане осталось всего двадцать восемь рублей— не хватит даже расплатиться.

— Может, подождешь, пока малость оправлюсь?

— Неужто уж совсем обнищал? Да у тебя ведь жена в передовиках.

— Ну, не совсем, конешно...— конфузливо пряча глаза, заговорил было Прухха, но Мигиш резко оборвал его:

— Тогда нечего вожжаться — давай,— и протянул свою черную от земли, заскорузлую ладонь.

Прухха достал из внутреннего нагрудного кармана измятые кредитки, разгладил их на коленке, трижды пересчитал и с горестным вздохом вручил Купцову. Тот, хотя деньги считались на его глазах, поплевав на пальцы, пересчитал их заново и не спеша засунул в карман пиджака, глубокий, как колодец,— рука ушла туда чуть не до локтя.

— А остальные когда? — деловито осведомился Купцов.— Рублев пятнадцать с тебя еще причитается. Это уж самое малое кладу.

— Как... пятнадцать? Какие?

— Самое малое, говорю, кладу...

Изумленный до последней степени, Прухха таращился на своего «компаньона» и не знал, что сказать. А когда вгляделся в его глаза, стало Пруххе вовсе неуютно. Были у старика Купцова глаза, как у собаки,— неопределенного цвета и без белков. Да и смотрел он на Прухху неподвижно и свирепо, как матерый цепной волкодав, готовый, только пошевелись, подмять под себя и вцепиться в горло. «И как же я раньше не замечал в нем этакого страхолюдства?» — подумал Прухха.

— Ну, что глазами-то хлопаешь? — зло сказал Мигиш.— Или, думаешь, я капиталы с собой привез? — Он встал, кивком указал на дверь.— Вода есть? Дай попить.

Вошли в избу. Купцов зачерпнул ковшом из ведра, напился. Присел на лавку возле двери и продолжал разговор так, словно он и не прерывался:

— Нет, брат, капиталов я не привез. Одни расходы...

— Ну, у тебя и доходы не чета моим. Вот я — верно, натерпелся... Не знаю, что и Санькке сказать,— сокрушался Пруххa.

— Без риску какой же бизнес? — философски заметил Купцов.— Тут либо — пан, либо — пропал. Иной раз и каша-то попадается без масла. А то и вовсе не попадается. Ты вон с телевизором живешь да с книжками, а у меня теперь вот внук на шее...

— Санькка купила. Да это и не телевизор, а радиоприемник.

— Все едино пятнадцать рублей выкладывай.

— Да за что?

— Сраму принимать на старости лет неохота.

— Да я-то... Я его, сраму-то, сам в достатке нахлебался...

— Что — ты? Что — ты? — зло наседал Купцов.— Бросил меня одного — всего твоих и делов. Так товарищи-то не поступают. Знаешь, что по твоей милости со мной приключилось-то?

— Что?

— Только чтоб никому... Слышь?..

...Картошку Мигиш спустил быстро и по хорошей цене. Распродал и кадку меда — целых два пуда. За вычетом дорожных расходов в оба конца оставался солидный барыш. Довольный «бизнесом» коммерсант, так и не дождавшись Пруххи, начал собираться на станцию. В это время подошел худенький невеликого роста человек и попросил набрать хотя бы граммов сто меду.

— Дело такое, товарищ,— общительно заговорил он,— самовар на столе, а жене чайку-то с медом захотелось. Живем мы тута недалечко.

Со стенок кадушки Мигиш наскреб ему целых двести граммов. Покупатель от души поблагодарил его и пригласил к себе на чай.

У Купцова целый день во рту маковой росинки не было, и все же из осторожности он вряд ли принял бы приглашение. Что ни говори — люди ему неизвестные, а желудок — ничего, не казенный, потерпит. Но—кадушка! На ее стенах еще оставался мед, который невозможно было соскрести. Не пропадать же ему. И Мигиш принял

приглашение. Человек провел его дворами и переулками, и вскоре Купцов очутился в однокомнатной, неплохо обставленной квартире. На круглом столе шипел никелированный самовар. Купцов вылил в кадку три кружки кипятку, тщательно ополоснул ее и, выпив эту сладкую водицу вприкуску с остатками домашнего хлеба, почувствовал полное удовлетворение — теперь можно было не тратиться на столовую.

Когда он собрался идти, на улице уже стемнело. Хозяева стали оставлять на почлег, уверив Мигиша, что ни о какой плате за постой и речи не может быть,— не такие они люди. Нужные поезда ушли, все равно до утра пришлось бы ожидать на вокзале, и старик остался.

Хозяйка постелила ему на полу и вышла на кухню. Только Купцов нырнул под одеяло, не сняв вторых шаровар, в кармашке которых были зашиты вырученные от торговли деньги, как в дверь постучали. Хозяйка открыла, и перед Мигишем предстали два здоровенных молодых человека в плащах «болонья». Один с усами, другой без усов — только и запомнил Мигиш. У обоих на левой руке была красная повязка с надписью «Дружинник». При виде их дрогнуло сердце Купцова, и он машинально нащупал под одеялом кармашек с деньгами.

Дружинники показали хозяину свои документы и попросили всех присутствующих предъявить паспорта. Сперва проверили паспорта хозяев, затем паспорт Мигиша.

— Вы, гражданин Купцов, приезжий?

— Да, я...

— Кем доводитесь хозяевам? Родственник?

— Я... Э-э...

— Ну, не родственник, ну и что? — смело и даже запальчиво встрял в разговор хозяин.— Негде было человеку почевать, ну, я пригласил — разве нельзя?

— С вами будет особый разговор, и не здесь,—спокойно и строго сказал дружинник с усами, и — Купцову: — А вас, гражданин, попрошу одеться и пройти вместе с нами в милицию.

Пришлось подчиниться.

— Не дрейфь,— утешал на прощанье хозяин,— ничего тебе не будет. Составят протокол, переночуешь в милиции — только и всего.

Захватив свои пожитки, Мигиш отправился с дружинниками. Долго крутили по переулкам. Горели фонари, было светло. Прохожие с любопытством оглядывались на

Мигиша, он усмехнулся про себя: поди, думают, бандита ведут.

— Подожди-ка,— останавливаясь, сказал дружинник с усами, видно старший,— с улицы мы не пройдем, сегодня там ремонт начали.

— А старшина говорил — на будущей неделе начнут.

— Много он знает. Я же сегодня заходил в отделение... Давайте, гражданин, назад,— обратился дружинник к Мигишу.— Придется пройти через двор.

Миновав двор, поднялись на крыльцо, вошли в темный коридор, толкнулись в дверь направо и очутились в длинном помещении, освещенном тусклой засиженной мухами лампочкой. У стены стояла некрашеная скамейка.

— Садитесь, отдыхайте,— добродушно сказал дружинник с усами. Повернулся к своему товарищу: — Пойду доложу капитану.

И он вышел в дверь, что находилась в противоположном конце помещения, оставив с Мигишем своего напарника. Были тут и еще две двери. Пока Купцов дожидался, в одну из них прошла какая-то женщина с сумочкой. Она очень подозрительно посмотрела на Купцова. «Тоже, видать, из милицейских»,— равнодушно подумал он. Тут появился усатый дружинник.

— Капитан сейчас освободится,— сказал он напарнику, а Купцову велел выложить все имеющиеся в карманах вещи,— их требовалось перечислить в протоколе. Мигиш сложил на скамейку кисет с махоркой, спички, перочинный нож, бечевочки, коробочки, немного металлической мелочи...

— Все? — испытующе глядя на него, спросил дружинник.

— Все вроде.

— А все ли?

— Все.

— Ну, дело ваше. Если что-нибудь не занесем в протокол, а потом у вас пропадет — не взыщите.

Мигиша даже в пот бросило. Замялся, завздыхал, полез пятерней в затылок... Не хотелось деньги показывать, да ведь пес их знает...

— Есть еще... деньги... На дорогу припасены...

— Кладите и их.

— Нешто обязательно?

— Гражданин, торговаться будете на базаре, а здесь милиция,— построжал усатый.

Долго копался Мигиш в штанах, прежде чем достал толстую, перетянутую резинкой пачку денег. Усатый деловито принял ее, сгреб в ладонь все остальное содержимое купцовских карманов и вышел. Через минуту его голова просунулась в дверь. Купцов вскочил было, думал — зовут к начальству, но усатый махнул рукой — сиди, мол, и сказал своему приятелю:

— Зайди, тебя капитан требует.

Тот пожал плечами, вопросительно взглянул на Мигиша: вот, дескать, напасть, зачем это я там понадобился? И, встретив вежливо-сочувственную улыбку, в свою очередь тоже улыбнулся: не робей, дед!

Оба дружинника скрылись за дверью.

«Долгонько что-то они»,— подумал Купцов, проведя в ожидании по его прикидке не меньше получаса.

Встал, прошелся по помещению. Стены были обшарпаны, окна в трещинах, в углах паутина... «Верно, давно пора ремонтировать»,— подумал Мигиш. Приблизился к двери, за которой находились дружинники, прислушался. Тихо. Чуть-чуть приоткрыл дверь — показалось странным, что за нею темновато. Приоткрыл еще: увидел площадку, выложенную красной плиткой и лестничные марши — вверх и вниз. Сердце так и оборвалось. Распахнул створки и — куда возраст делся — взлетел по лестнице на следующую площадку, толкнулся в дверь, потом догадался нажать кнопку звонка. Вышла женщина в длинном махровом халате.

— Вам кого?

— Да мне милицию... Этих дружинников... Где тут милиция-то будет?

— Какая милиция, вы что? Здесь жилой дом. До милиции надо на автобусе...

Мигиш все понял и обвалом ринулся вниз. На подоконнике, на площадке, увидел свой кисет, перочинный нож, все, что отдал «для протокола». Сгреб вещи и выбежал на улицу:

— Милиция!

Ни души. Даже прохожих, как на грех, ни одного — время позднее. Да и что теперь орать, они, эти «дружинники-то», чай, уж успели бог знает куда удрать.

После долгих блужданий вышел на освещенную улицу. Встретил постового милиционера, рассказал ему о случившемся. Тот вызвал двух дежурных. Они попросили Купцова показать помещение, которое преступники выдали за

отделение милиции. Но теперь Мигиш, хоть убейте его, не мог вспомнить, как туда пройти. Точно так же не сумел он показать, где живет гостеприимный хозяин, пригласивший его на чай. Только из вопросов милиционеров понял Купцов, что и «дружинники» и «гостеприимный» хозяин — все это одна шайка. Переночевав в милиции, утром Мигиш отправился на станцию. С грехом пополам выпросил у едва знакомого проводника пятнадцать рублей, под залог оставив паспорт, кадку из-под меда, мешки и расписку с указанием взятой суммы.

В пересказе Мигиша история эта выглядела куда более драматичной. Выходило, что не сам он простодушно отдал деньги мнимым дружинникам, а они, заведя его в темный двор и пригрозив финками, грубо отобрали всю наличность.

— Вот оно как — товарищей-то бросать,— сокрушенно закончил Мигиш свой рассказ и запалил «козью ножку».— А ты еще спрашиваешь, за что пятнадцать рублев. Пятнадцать — это так, послать скорее надо, паспорт выручить, а то напишет, сволочь, в правление аль — того хлеще — прокурору... Не-ет, я из-за тебя не пятнадцать рублев убытку-то понес, а чуть поболе... Уж про кадку и мешки не говорю — они, считай, пропали. Вот и мотай на ус-то...

— Да где ж я тебе их возьму?! — в отчаянии приложив руки к груди, взмолился Прухха.— Я ведь все тебе до последней копейки отдал... Курева купить не на что.

— Ничего, не покуришь, оно — здоровше будешь. Я вон што претерпел, чуть жизни не решился, а ты пятнадцать...

— Да где ж я их!..— взвился было Прухха опять, но как-то вдруг неожиданно успокоился, и в глазах его зажглись искорки злорадства.— Вот сейчас должна прийти Санькка,— сказал он, взглянув на старенькие ходики с гирей,— у нее деньги и проси, а с меня взять нечего.

— А что, она сейчас придет? — насторожился Купцов и поднялся с лавки.— Ну тогда сам тут с ней, а я пошел...

— Подожди, может, найдет для тебя,— уже откровенно посмеивался Прухха.

— Ладно, потом, потом...

Купцов ушел, а Прухха, донельзя довольный своей сообразительностью, так и покатился со смеху. Ну и Мигиш! Санькки боится, что твой мышонок амбарной кошки.

Отсмеявшись, Прухха поставил на керосинку чайник

и, взяв полотенце, вышел умыться. С наступлением тепла Санькка выносила умывальник на двор. Прухха спустился с крыльца и тут увидел, что мешков, на которых сидел Мигиш, нет на месте. Куда ж они делись? Снес в избу да забыл? Сходил в чулан, оглядел углы — мешков там не было. Стал вспоминать, куда же он мог их подевать? Но тут взгляд его упал на плававший в ведре под умывальником окурок «козьей ножки». Ясно — Мигиш... Этот старый живоглот прихватил попутно его мешки.

Прухха бросил полотенце на бечеву, протянутую между столбами крыльца, и выбежал на улицу. Купцова и след простыл. Кинулся в проулок — и там пусто. Удрал-таки... Прухха плюнул с досады. А он-то смеялся — обдурил Мигиша. Вот и просмеял мешки. Но, вспомнив, что на мешках красной краской выведены его инициалы «П. Е.», Прухха успокоился. Краску Мигиш не смоет, и значит, рано или поздно мешки придется вернуть.

И в поезде и по дороге со станции Прухха неотступно думал о том, как оправдаться перед Санькой. Сочинял целые речи, но, зная жену, понимал: все его оправдания в ее глазах гроша ломаного не стоят.

Перекусив и выпив чаю, он опять принялся было сочинять для Санькки всякие трогательные небылицы, но жена все не возвращалась, и ему это надоело.

Наступил вечер, начало темнеть, а Санькки все нет как нет. Чувство вины постепенно улетучилось и уступило место благородному негодованию. Теперь уже Прухха сочинял тирады, полные упреков в адрес жены. Разгорячившись, он некоторые наиболее драматически насыщенные выражения даже произносил вслух и сожалел, что они не достигают ушей той, для которой предназначены. Услышь она его, и, может быть, поняла бы, какую допускает по отношению к нему, Прохору Емеськину, вопиющую несправедливость. Он погасил лампу, сел перед окном, чтобы еще издали увидеть Санькку. Но, не просидев и пяти минут, выскочил на улицу, прошелся туда-сюда. Опять вернулся в избу, сел к окну. Нет, мочи не было сидеть дома. Накинул новый ватник, надел кепку и, заперев наружную дверь, зашагал на другой конец села, к правлению,— может, Санькка задержалась на разнарядке?

В конторе уборщица, мать Кузьмы Енчикова, мыла полы. Санькку она не видела, да и наряда сегодня не было.

Пруxxa вышел из правления и остановился посреди улицы. От клуба доносились звуки баяна. Девичьи голоса задорно частили:

Все ходила к камышу я,
Пробила тропинку...
По тебе, милок, тоскуя,
Стала с камышинку!
И-и-х!..

Пруxxa почувствовал зависть к молодежи, которая сейчас беззаботно веселилась. А тут вот жена пропала неизвестно куда, ищи-свищи... Уж не у Макара ли? «А что? Она ведь не знает, что я приехал, может, и ночевать у него осталась. Может, пока я ездил, вообще дома не ночевала»,— растравлял себя Пруxxa.

Слухи о связи Санькки с Макаром Ясновым еще месяц назад достигли ушей Пруxxи. Он начал выслеживать ее, расспрашивать людей, но добился лишь того, что стал всеобщим посмешищем. Тогда решил поговорить с женой прямо и решительно, «по-мужски». Думал, что Санькка начнет отпираться, лебезить, раскаиваться, а может, даже и слезу пустит. О, если бы так! Тогда бы он — кум королю, зя́ть министру! Конечно, он бы ее простил, но уж потом держал в руках крепко.

А получилось совсем не так. Санькка глянула ему в глаза и на его прямой вопрос без тени смущения и без следа раскаяния так же прямо ответила:

— Да, товарищ Емеськин, нравится мне Макар Макарыч.— И, подумав, кровожадно повернула всаженный в сердце Пруxxи нож: — Люблю я его.

Не помня себя бросился Пруxxa на жену с кулаками, но та как-то необыкновенно ловко перехватила его правую руку и сильно дернула вниз. От боли в плече Пруxxa взвыл не своим голосом. Рука повисла как плеть. Санькка, ни слова не говоря, одела мужа и повела в медпункт. Фельдшер осмотрел Пруxxу и спросил:

— Как это тебя угораздило вывихнуть плечо?

Емеськин не знал, что и ответить.

— Что молчишь? Тебя, чай, спрашивают,— подзадорила Санькка.

— Упал,— пробормотал Пруxxa, пряча глаза.

— Небось пьян был?

— Будешь тут пьян...

— Без пьянки дурак,— усмешливо подвела итог Санькка.

Фельдшер вправил сустав и посоветовал Пруххе смотреть под ноги. «Ничего себе, присоветовал! — желчно подумал Прухха.—Тут за женой не знаешь как усмотреть, а он — под ноги...» После этого случая Прухха остерегался заговаривать с Санькой о Макаре. Но кое-что предпринял: дней десять назад, как раз перед отъездом, отправил письмо в райком, на имя первого секретаря. Думал — приедет, а Санька уже приструнена, половиком перед ним расстилается. Да, видно, зря понадеялся. Либо не дошло письмо, либо под сукно положили... Видно, самому надо за дело взяться. Хватит терпеть! Будет! Не желает он больше ушами хлопать. Не кролик! Сейчас он им покажет!..

Подстегивая себя такими мыслями, Прухха поспешил к дому агронома Яснова. Временами с шага он переходил на бег, чтобы поскорее пресечь любовные утехи Саньки и Макара.

В избе агронома горел свет. Прухха остановился под окнами. Взглянуть бы, как они там милуются, да занавески мешают. Может, свидетелей крикнуть? Да какой от них прок? Только на смех подымут... Не собирается же он разводиться с Санькой. Этак и дома можно лишиться. С нее станется — возьмет да выгонит. Потом доказывай... Власти теперь завсегда женскую сторону держат. Ребенка бы надо, небось тогда не больно бы побрыкалась... Да где ж ему быть, коль мужа с собою спать не пускает? Не-ет, так дело больше не пойдет.

Прухха решительно поднялся на крыльцо, не постучавшись, вошел в сени, миновал их и, намереваясь застать любовников врасплох, рванул на себя дверь. В избе было тихо. Ничто не напоминало картины, которую нарисовало разгоряченное воображение Прухи.

Яснов сидел за столом, перед ним лежала толстая тетрадь, в которую он что-то записывал. Тут же на столе несколько раскрытых книг, и все, видать, толстенные. Рядом, на стуле, лежала стопка газет. Пахло керосиновой копотью, у лампы был слишком вывернут фитиль,— но хозяин этого не замечал.

Он поднял на Прухху отсутствующий взгляд, ему потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в сиюминутную реальность. Отложил ручку, чуть улыбнулся.

— Здравствуй, Прохор Иваныч. Проходи, садись, что ты там за порогом-то встал?

Пруххе не понравилась ни улыбка Яснова, ни обраще-



ние по имени-отчеству — насмешки строит, издевается! Ну валяй, валяй. Прухха тоже устроит тебе переворот в жизни... Вот вызовут в райком... Там вашего брата за такие дела почем зря чихвостят...

Прухха вошел в избу, подозрительным взглядом обшарил узкую деревянную кровать, стоявшую слева у стены. Не разобрана. Ну, да что, могли и убрать...

— Садись, Прохор Иваныч,— повторил Яснов и со стула переложил газеты на стол.

Пруххе вдруг кровь тугим током бросилась в лицо.

— Сидеть?.. У тебя?.. Пусть другие сидят,— почти задыхаясь от волнения, проговорил он.— Где Санькка?

— Не знаю. Здесь ее нет, сам видишь.

— Выпроводил, значит?! — ожесточась все более и даже ощерясь как-то по-собачьи, выкрикнул Прухха.— Может, она... ночевать придет?

Яснов посуровел лицом, плотно сжал губы. А глаза все как будто смеются. Прухху даже в дрожь кинуло. Судорожно сорвал кепку, но тотчас опять надел. Расстегнул пуговицу ватника, шагнул к столу...

— Коммунист называешься? За такие дела...

Слова, злые, ядовитые, правильные грудились в голове,

просто на части ее рвали, но не шли на язык, никак не шли, проклятые...

От неимоверного внутреннего усилия у Пруххи взмокла спина. И, не зная, что еще сказать пообиднее, бросил первое попавшееся:

— Видать, не зря до войны сидел-то, зря не посадят!

По тому, как страдальчески сморщилось лицо агронома, как болезненно потухли его глаза, Прухха понял, что сказал, пожалуй, не дело. Досадуя на себя и оттого еще сильнее вскипая злостью, пнул ногою дверь и выбежал из избы.

...Семьдесят четыре дня просидел Макар Яснов в тюрьме. Но за эти семьдесят четыре дня пережил он, наверно, не меньше, чем за четыре года войны, которую начал рядовым, а кончил командиром разведроты. И если нервы у него потрепаны, то немало способствовали тому семьдесят четыре дня и семьдесят четыре ночи, проведенные за решеткой среди уголовного сброда.

И несправедливые слова, которые бросил Емеськин ему в лицо, впервые услышал Яснов в камере предварительного заключения. Было это двадцать пять лет назад.

В то время он, молодой сельский коммунист, учился в совпартшколе, куда направил его райком. Историю партии и историю СССР в школе преподавал Григорий Гаврилыч Таранов, человек не старый и большой любитель шахмат. Играл он сильно, в школе, во всяком случае, достойных соперников ему не находилось. И все же часто забегал в общежитие, чтобы сыграть партию-другую с кем-нибудь из своих учеников. Макар Яснов в шахматах тоже был не новичок, интересовался теорией, да все както не выпадал случай сразиться с Тарановым. Но вот они встретились за шахматной доской, и Макар поставил своему преподавателю мат. Обескураженный, но еще больше обрадованный тем, что нашел интересного партнера, Таранов пригласил Макара бывать у него дома.

Жил Григорий Гаврилыч с семьей в небольших двух комнатках в деревянном двухэтажном здании старомещанской постройки. Жена его и дочь Верочка были работницами чулочной фабрики, сын ходил в школу.

По воскресеньям к Тарановым приходили друзья, такие же любители шахмат. Чаевничали, иногда распивали бутылку красного вина, потом садились за шахматы. Макар заглядывался на красивую сероглазую Верочку, но робел перед ней страшно.

Однажды, когда Григорий Гаврилыч и Макар сидели, склонившись над доской, за стеной у соседей поднялся невообразимый гвалт.

— Сосед хватил лишнего. Теперь не уймется долго, — грустно покачал головой Таранов. Он сразу как-то потерял интерес к игре и, сделав два-три хода, встал из-за стола: — Не могу.

За стеной заплакал ребенок, загремела, видимо упавшая на пол, посуда, завизжала женщина. Верочка сжала виски ладошками.

Яснов сорвался с места и выбежал в коридор. Здесь, перед дверью комнаты, в которой происходило буйство, стояли геморроидального вида мужчина в нижней рубашке и брюках с подтяжками и несколько женщин.

— Что ж стоите, не уймете хулигана?! — возмущенно воскликнул Макар, проталкиваясь к двери.

Был он тогда молод, силен и прямолинеен. Если муж измывается над женой, тем более пускает в ход кулаки — это отрыжка старого быта, подлежащая немедленному искоренению. А поскольку слово у коммуниста никогда не должно расходиться с делом, то без колебаний — вперед!

Решительные слова и вид молодого человека подействовали на собравшуюся перед дверью публику неожиданным образом — она испарилась. Макара это не остановило — он распахнул дверь, в ту же секунду о лоб его ударилась днищем металлическая тарелка и отлетела со скандальным звоном. Метнувший этот снаряд рыжий краснолицый детина уже тянулся за чугунной пепельницей, но Яснов прыгнул на него, свалил подножкой, завернул за спину руки. В тот же момент в комнате появились двое милиционеров. Подняли буяна, а он едва на ногах держится, глаза норовит закатить — кровь у него по волосам струится и на пол капает. Падая, о дверцу печи ударился. Жена его, которую он только что мордовал, как желательно было его душе, вдруг чуть ли не с кулаками набросилась на своего защитника. Из выкриков женщины милиционеры поняли, что этот посторонний гражданин покушался на жизнь ее мужа и преуспел бы, явись они, представители власти, чуть позднее.

А пьяный хозяин, чуть опамятовавшись, ткнул в Яснова толстым пальцем и заорал, что этот тип посягал на честь его дорогой супруги. Буяна отправили в больницу, а его жену и Яснова милиционеры попросили пройти в отделение. Там, к удивлению Макара, женщина подтвер-

дила бредовые показания своего мужа. Потом уж Макар понял: сделала она это, чтобы выгородить супруга, которому, возможно, грозили неприятности. Других свидетелей не было. Таранов в расчет не брался, ибо на месте происшествия не присутствовал. Яснова задержали и как подследственного отправили в тюрьму. Так вдруг слушатель совпартшколы очутился в компании отпетых уголовников — воров, спекулянтов, насильников и убийц.

Здесь властвовал культ силы. Драки возникали ежеминутно и по любому поводу — из-за места на нарах, из-за пайки хлеба, из-за окурка. Макара, выросшего в деревне, понятия не имевшего об уголовном мире, такая обстановка повергла в отчаяние. Ему представлялось, что он попал в какую-то осклизлую яму, набитую страшными пауками, которые непрерывно поедали друг друга. Когда-то в детстве бабушка стращала Макара адом... Ад находился здесь. Это он уяснил в первый же день заключения, когда надзиратели вытащили из-под нар избитого до полусмерти попа, сидевшего за изнасилование.

Верховодил в камере кряжистый толстомордый рецидивист, разрисованный синими наколками. Один глаз у него был выбит, второй, водянисто-серый, как осенняя туча, смотрел на людей тяжело и нагло. Звали его Лёвчик. Кличка это или имя, Макар не знал. Имелось у Лёвчика несколько подручных, готовых выполнить любое его повеление...

Нары стояли в два яруса. Макар занимал верхнее место, а под ним располагался пожилой и очень тихий болезненного вида человек. Обстановка в камере, видимо, угнетала его. Он сразу потянулся к Яснову, старался быть возле него. Макар понимал: человек этот, затурканный уголовниками, ищет защиты у него, более сильного. Имени его в камере никто не знал, называли Хрычом.

Еще больше, чем от тычков и пинков, страдал Хрыч из-за отсутствия курева. За щепотку табака он, случалось, отдавал уголовникам, не испытывавшим табачного голода, дневную порцию хлеба. Макар ничем тут не мог ему помочь — не курил.

Однажды, когда хлеб был прокурен за два дня вперед и никаких надежд на цигарку в ближайшие сутки не осталось, измученный Хрыч поднялся с нар и подошел к двери. Лучинкой поковырялся в щели между половиц, потом подошел к нарам, поковырялся опять. Передвигаясь так вдоль нар, безбоязненно подошел к месту, где располага-

лась банда Лёвчика, и Яснов весь внутренне съежился, ожидая, что сейчас посыплются на спину Хрыча колотушки. К счастью, банда была занята картами, и Хрычу удалось беспрепятственно поковыряться между половицами.

Он сгребал в ладонь извлеченный из щелей мусор и выбирал из него крошки табаку. К вечеру ему удалось набрать на закрутку. Хрыч нашел клочок бумаги, свернул цигарку и, подняв на Макара покорный взгляд, слабо улыбнулся — вот, дескать, живем! Потом стал думать, где бы добыть огня.

Неожиданно перед ним вырос Лёвчик и, спокойно, даже лениво протянув руку, выдернул зажатую меж пальцев Хрыча цигарку. Один из подручных тотчас поднес горящую спичку. Лёвчик затянулся, выпустил дым и сказал под хохот своей шайки:

— «Золотое руно», шоб мне подохнуть!

Хрыч сидел ссутулившись, неподвижно,— казалось, он не дышал. От нечего делать Лёвчик дал ему щелчка и отошел. Нет, он только собрался повернуться, чтобы отойти, да не успел. Ярость, слепая, не рассуждающая, бешеная ярость обожгла Макару голову, сбросила его с нар. В удар он вложил всю накопившуюся в душе ненависть к миру несправедливости, тупой злой силы, подлости и жестокости. В нем, в Макаре Яснове,— он потом уж понял,— был необыкновенно развит отцовский инстинкт покровительства, защиты слабого. И вот инстинкт взял верх над разумом.

Лёвчик охнул и, отлетев к двери, распластался на полу. Цигарка описала дугу и упала неподалеку. От нее заструился дымок, Макар поднял цигарку, вручил Хрычу, который смотрел на него с выражением суеверного страха, как на чудо. Потом подошел к Лёвчику, взял его под мышки, рывком поставил на ноги, чтобы привести в чувство, хлопнул по одной и по другой щеке. Когда же Лёвчик открыл мутноватый глаз, сказал весь еще разгоряченный, мобилизованный:

— Сунься еще к Хрычу, сволочь,— убью.

И, легонько оттолкнув Лёвчика, забрался к себе на верхний ярус.

Только теперь, подумав, что его ожидает, Макар испугался.

Однако ничего не произошло. Подручные Лёвчика, растерявшиеся в первый момент, теперь не знали, что делать, ибо никаких распоряжений от потрясенного главаря

не получали. Нейтральное же население камеры откровенно издевалось над ними. Напади шайка на Макара, «нейтралы», пожалуй, приняли бы его сторону...

И вдруг с нар донесся жалобный, почти плачущий голос Лёвчика:

— Вот, гад, еще трепался: зря посадили. Не-ет, видать, не зря...

Слова эти разрядили обстановку. Две следующие ночи Макар не смыкал глаз, опасаясь мести.

Вскоре стараниями Таранова, который дошел до секретаря обкома, Макара освободили и сняли с него все нелепые обвинения. Начальник милиции перед ним извинился.

Но семьдесят четыре дня, проведенные в аду, не прошли даром. Что-то изменилось в характере Макара. Пропала наивность. Проглянуло в глубине глаз понимание. Исчезла румяная юношеская беззаботность.

В совпартшколу Яснов не вернулся, в Табор — тоже. Уехал в Сибирь, работал там в большом совхозе. Оттуда в сорок первом — на фронт.

Из рабочей колеи был Макар Макарыч выбит и закрыл тетрадь. Встал, походил по избе. Наскок Емеськина, его выкрики — от всего этого мутило. Что-то тут от грязного скандальчика просматривалось. А ведь Санькка Ударова,— выходя за Емеськина, она оставила себе девичью фамилию,— Санькка Ударова чистейшей души человек. Сильный духом человек. Веселый и добрый человек.

Только теперь, в свои сорок шесть лет, встретив и полюбив Санькку Ударову, понял по-настоящему Яснов, какая это радость — жить. Понял, как можно сожалеть о прошедшем дне. Как можно с мальчишеским нетерпением ждать дня следующего.

Все, что его окружало, получило новое значение в его глазах. Раньше он не обращал внимания на свое ветхое жилье, свой быт, не замечал неустроенности. Теперь вот собирается отремонтировать капитально избу, а хватит сил, так и новую поставить. Прежде почти все свои деньги он раздавал в долг, на одежду не обращал внимания. Все бывшие фронтовики давно уж забыли, что такое гимнастерка и офицерский ремень, донашивали бог знает по какому костюму, а Яснов все еще ходил в военном. И только вот теперь приобрел цивильный костюм, несколько белых рубашек, хорошие ботинки, пальто, а для дома —

стулья. Была у него одна жесткая, будто дробью набитая подушка. Пожалуй бы, он и сейчас ею довольствовался, да Санькка принесла ему пуховую, и как он ни артачился, пришлось подарок принять.

Хорошо ему было с Саньккой, бодро. Но лишь до той минуты, пока не вспоминал про незаконность их связи, про мужа ее Прохора Емеськина. Перед ним Яснов чувствовал себя виноватым. И не только перед ним. Перед совестью своей партийной — тоже. И никакого оправдания ему не было. Он не только коммунист, а еще и секретарь партийной организации. Сам бы должен осуждать других за такие дела...

Емеськин знает о его связи с Саньккой. Она сама сказала мужу,— пожалуй, и хорошо. Скорее распутается узел...

Да и так ли уж он, Яснов, виноват, как оно может показаться на первый взгляд? Вряд ли у кого-нибудь из тех, кто знает Емеськина, повернется язык сказать, что, бросая его, Санькка допускает ошибку. Люди могут осудить ее лишь за то, что, допустив в юности ошибку, она пытается ее теперь исправить. Да еще с помощью третьего... Но как же иначе? Не полюби она его, Яснова, так бы и жила с Пруххой, так бы и ходила по кругу, словно слепая лошадь. Нужен был Яснов, чтобы сорвать ее с этой замкнутой орбиты.

Но теперь уже не имеет смысла оправдывать себя. Они любят друг друга, и пути назад нет. Продолжать жить с мужем, жалким, неумным человеком,— значит для Санькки убить нечто большое, настоящее в своей душе, которой еще предстоит раскрыться, как запоздавшему бутону.

Такой пример был Яснову известен — судьба его друга по совпартшколе Васьлея Андреева. Васьлей отлично рисовал. В школе бессменно занимался оформлением стенгазет, писанием лозунгов и плакатов к революционным праздникам. Уже после войны Яснов попал однажды на выставку его картин,— Васьлей Андреев стал подающим надежды художником. Репродукции его картин публиковались в популярных столичных журналах. По словам его товарищей, Васьлей обладал изрядным самобытным талантом и мог пойти далеко.

Женился он в тридцать лет на женщине года на два моложе его. Сюзанна была учительницей. Став женой известного художника, человека обеспеченного, она бросила

работу. Появились у нее подруги, с утра до вечера не знающие куда себя деть и живущие неизвестно чем. Целыми днями толклись они в доме, мешали Андрееву. В конце концов он уговорил жену поступить на работу. Сюзанна стала завхозом то ли в детских яслях, то ли в детском саду.

И раньше случалось, что Сюзанна возвращалась домой поздно и навеселе. Теперь это стало повторяться чуть ли не ежедневно. Попытки Андреева поговорить с нею о недопустимости такого поведения кончались ссорами. А для Сюзанны каждая ссора была поводом для того, чтобы исчезнуть на двое-трое суток. Иногда она пропадала на целую неделю. От знакомых Андреев, не знающий куда деваться от стыда, узнавал, что ее видели или в ресторане, или где-нибудь на улице. Вечное напряжение, стыд, боль душевная надломили художника — стал попивать. Все меньше времени проводил он у мольберта, лень было браться за кисть...

В какое-нибудь утро, когда на столе — груды немытой посуды, остатки пищи, на полу, прямо на ковре, валяются горелые спички, окурки, появлялась Сюзанна. Перебросившись двумя-тремя словами, супруги приступали к уборке квартиры. Жизнь на некоторое время входила в свою колею, и Андреев принимался за работу.

А потом все начиналось сызнова. Со временем Сюзанна, уходя, стала забирать у мужа документы и деньги. Однажды, это случилось год назад, Андреев целую неделю сидел без копейки — занимать он не мог, стыдился. Не вытерпел, пришел к жене на место работы. Тут уж совсем дикая вещь произошла. Сюзанна при сотрудниках накинулась на него с руганью, объявила психически больным. Андреев поспешил уйти.

Товарищи художника в один голос советовали ему развестись с женой, старались убедить, что такая жизнь погубит его талант. И Андреев, кажется, внял советам. Во время их последней встречи минувшей зимой он рассказал Яснову, что живет теперь один. Сюзанна ушла от него. Макар Макарыч порадовался за друга, пригласил его приехать пожить в Таборе. Андреев предложение с удовольствием принял... И вот недавно Яснов узнал, что друг его опять живет вместе с Сюзанной. И образ их жизни остался прежний. Правду, видно, говорят: душа человеческая что колодец. Разберись в ней, поди.

Такой судьбы не желал Яснов для Санькки. Он все

сделает, чтобы Санькка была счастлива. Она достойна счастья.

А Емеськин... Что ж Емеськин... Не может он висеть у нее всю жизнь гирей на ногах. Он не ребенок. Пробавляется не молочком, а водочкой да табачком... Конечно, он жалок, но жалеть надо Санькку, а не его. Хотя чего-чего, а жалости она вызвать никак не способна. Когда заходит у нее с Ясновым речь о ее муже, она не знает колебаний: «Пять годочков с ним, окаянным, проняньчилась — хватит. Мне уж под тридцать. Пусть теперь другую дуру ищет. Скоро к тебе перейду».

И она перейдет. И ты, Яснов, примешь ее с радостью, хотя сейчас, когда думаешь об этом, побаиваешься ее решимости...

Лампа давно уже коптила. Макар Макарыч подошел к столу, привернул фитиль. Вышел на кухню, попил воды, накинул на плечи телогрейку — печка была не топлена со вчерашнего дня. Вернулся в горницу. Слышно было, как в своих гнездах на разлапистых ветлах, посаженных еще дедом Макара, возятся грачи. Раздаются хлопки крыльев, иногда — случайно вырвавшееся «карр!», временами на землю падает обломившаяся сухая ветка.

Где-то в центре села поют девчата. Слов не разобрать, но, судя по мелодии, девушки недоумевают по поводу того, что «парней так много холостых, а я люблю женатого».

Послышался легкий стук в окно. Яснов приподнял угол занавески и увидел за стеклом близко сияющие знакомые глаза.

— Я зайду! — громко сказала Санькка.— Что во тьме сидишь?

Чувствуя, как сердце обдало теплым и губы сами собою разъехались в улыбке, Яснов бросился вывертывать фитиль лампы.

Санькка широко распахнула дверь, переступила через высокий порог, устремила на Яснова свои темные, поблескивающие, как спелые вишни после дождя, глаза и объявила.

— Вот и я.

Макар Макарыч подошел, прижался щекой к ее прохладной щеке. Что-то в ней было необыкновенно притягательно. Черты лица? Нет, лицо нельзя было назвать красивым. Соединение трогательного простодушия и внутренней силы — вот, пожалуй, что...

Когда уселись рядышком на край койки Санькка смеясь, прямо-таки искря глазами, сказала:

— Сейчас я тебя огорошу новостью. Хочешь?

— Хочу.

— Скоро у нас будет маленький Макар или маленькая Санькка. Кого выбираешь?

Яснов смотрел на ее порозовевшее лицо и не знал, что сказать. Вот уж действительно, огорошила. И когда дошел наконец до сердца огромный, радостный смысл ее слов, Яснов вскочил и рассмеялся:

— Верно? Не разыгрываешь?

— Ну что ты, разве этим шутят? — мягко улыбалась она.

Он опять сел, охватил своими ладонями теплую руку Санькки.

— Значит, определенно будет? Наш сын...

— Или дочь.

— Но подожди... подожди,— он потер лоб, как-то досадно поморщился, точно искал и не находил слов.— Понимаешь... Может, это... может...

— Хочешь сказать: может, от Емеськина? — Лицо Санькки потускнело, будто где-то внутри у нее выключили свет.

Она поднялась, сунула ноги в резиновые боты, накинула плащ и, не проронив ни слова, не оглянувшись, вышла.

Только услышав, как хлопнула наружная дверь, Яснов понял, что она ушла. Ушла оскорбленная. Выбежал на улицу, позвал негромко:

— Санькка! Ты что?

В темноте слышались удаляющиеся ее шаги.

— Санькка!! — уже не опасаясь, что услышат соседи, вообще не думая об этом, закричал Яснов.— Санькка!! Вернись!!!

Прислушался. Шаги замерли вдали.

Яснов охватил руками голову, постоял так. Темно было на улице. И в темноте чуть заметно выделялась черная масса ветел.

Глава шестая

Между южным краем Заказа и Барскими лугами протекала в обрывистых берегах Пархилова речка. По летнему времени речкой назвать ее язык бы не повернулся —

ручей и ручей. Да и тот на ладан дышит, вот-вот пересохнет. Но уж зато весной речка показывает свой норов вовсю. Вода, поднявшись вровень с берегами, мчится со скоростью курьерского, снося все на своем пути. Чуть ли не каждый год находили свой конец в мутном потоке либо корова, либо овца. Тонули и лошади. Лет пятьдесят назад — случай этот Агафонов хорошо помнил — загубила речка пастуха Пархила; тогда-то и получил безвестный ручей вместе с пастуховым именем почетное звание речки.

Барские луга прежде действительно были лугами. Выстилал их ковер пахучего разнотравья. На памяти Мирона Платоныча трава там зачахла и перестала расти. Позднее часть неродящих лугов, что ближе к селу, распахали и пустили их под колхозный огород. Урожаи овощей получали не великие, но для внутренних нужд хватало, даже на трудодни распределять оставалось.

До самого большака дорога петляла по краю Барских лугов вдоль Пархиловой речки. Чемберлен бежал рысцой, тележка мягко катилась по влажному грунту. Мирон Платоныч поглядывал на порушенные, заметно раздавшиеся вширь берега, на кромку обрыва, местами подступавшую к самой дороге, и с привычной озабоченностью думал, что только за одно половодье чертова эта речка отняла у колхоза не меньше полугектара земли. И ежели берега не укрепить, то лет эдак через десяток на месте колхозного огорода появится овраг. Рядом в тележке сидел Яснов, впереди,на облучке — бригадир-овощевод Синахвун Парфенов.

Синахвун доводился утонувшему когда-то в этих местах пастуху Пархилу внуком. Может быть, поэтому, при виде произведенных речкой разрушений, он восхищенно пощелкивал языком: ну, мол, поработала нынче дедушкина речка, наделала делов!

Председатель, агроном и бригадир ехали на огород — надо было решить, можно ли начинать там пахоту. Попутно хотели посмотреть и другие поля.

Разговор перескакивал с предмета на предмет. Одни темы были волнующие, и тогда речь бежала стремительным тугим потоком, как Пархилова речка в половодье; другие не очень затрагивали, и тогда слова слетали с губ нехотя, словно капли из перекрытой трубы.

Стоило Яснову упомянуть про будущий сахарный завод, как Мирон Платоныч, распаляясь все сильнее и силь-

нее, начал поносить «верхоглядов», которые «цены земле не ведают».

— Ведь до чего дошли?! — гремел он.— Особенно вблизи городов... Обносят забором гектаров с полсотни пахотной земли, ставят на них какие-нибудь мастерские, еще там да тут два-три сарая... А для всех этих построек на деле и гектара-то много... Ведь эдак землей разбрасываться — скоро вовсе места не останется для растительности. А ею питается вся земная живность. Вот и выходит, что под собою сук рубим.

— Зря шумишь, Мирон Платоныч,— сказал Яснов. — Ты лучше скажи: нужен людям сахар или не нужен?

— Экой умник,— саркастически усмехнулся Агафонов.— Ну, скажем, нужен... Так теперь что ж?..

— Нет, погоди,— выставил вперед ладонь Яснов,— согласен с одним, соглашайся и с другим, будь логичным. Где же его ставить-то, завод, по-твоему? В тайге? Иль в горах бесплодных? Иль в пустыне? А свеклу возить за тысячу километров? Так у тебя кило-то сахару не в девяносто копеек, а в три рубля вскочит. Вот и вынуждены ставить завод на наших полях, где для него эту самую свеклу можно выращивать в любых количествах.

— Что? Таборские земли пустить под свеклу? Насмешил ты меня, парторг! — Мирон Платоныч и вправду рассмеялся.— Хлебушко, значит, побоку,— будем свеклу жрать! Н-ну не-ет, мил друг... Все в хлебе...

— Продавать заводу будем, дело выгодное... На Украине...

— ...мир хлебом держится! — не слушая Яснова, говорил свое Мирон Платоныч.— Есть хлеб,— значит, все есть... Государство с нас требует больше хлеба, а ты...

— Не только хлеба требует с нас государство.

— Мы по всем показателям план выполняем.

— Нет, не по всем.

— По каким же?

— По поднятию жизненного уровня колхозников. Из года в год этот план заваливаем.

— Да тебя что?.. Бабушка перекрестила?! Кто голодным сидит в Таборе?

— Брось, Мирон Платоныч, в наше время и говорить-то об этом неловко. «Голодным...» Голодных у нас давным-давно нет. Но ведь вот какой оборот дело-то принимает. Если голодному нужна одна пища, то сытому нужно еще много всего, кроме пищи. Вот о них, о людях, кото-

рые выращивают хлеб, кормят досыта себя и других, о них, об их благе и нужно прежде всего подумать...

— А я, стало быть, не думаю?

— Я этого не сказал. И не закипай, не закипай... Разговор большой. Когда-нибудь поговорим на бюро, а еще лучше — на партсобрании.

— Уж не пугаешь ли?

— Да что тебя пугать, ты не из боязливых... Но и мне, и Синахвину вот, и другим колхозникам — тоже нечего бояться.

— А ты, мил друг, яснее, яснее, а то завел, как бабка-знахарка...

— Ты человек разумный, Мирон Платоныч,— и так поймешь...

Подвода выехала на большак, и Синахвин, чувствуя, что дело идет к ссоре, и желая предотвратить ее, круто завернул на огороды, натянул вожжи, спрыгнул с тележки и громко заговорил:

— Ну, что, Мирон Платоныч, завтра начнем? Так, что ли? Тогда я велю с утра раскидать навоз да пахать.

Раскрасневшийся председатель смотрел на Синахвина такими глазами, будто слова бригадира были обращены вовсе и не к нему. Снял фуражку, пестрым платочком утер затылок, лысину, широкий, прорезанный крупными горизонтальными складками, лоб, пригладил усы.

Яснов, чтобы рассеять возникшую было между ним и председателем отчужденность, улыбнулся и сказал:

— Кто-то, кажется, Козьма Прутков, советовал: «Чем отставать, лучше преуспевай». Земля для пахоты — в самый раз. Как полагаешь, Мирон Платоныч?

— Завтра начнем,— сумрачно буркнул Агафонов.

Он натянул на крупную свою голову фуражку, соскочил с тележки, размял затекшие ноги. Жмурясь, взглянул из-под руки на солнце, прислушался к трелям жаворонка, и лицо его прояснилось.

— Смотри-ка, вроде геологи, их «газик»,— сказал Синахвин Парфенов.— Опять к нам, видно.

Агафонов встрепенулся, словно боевой конь при звуках трубы, лицо опять сделалось жестким, замкнутым. Со стороны города по большаку приближался «газик» с брезентовым верхом. Поравнявшись с таборщами, машина свернула на обочину и остановилась. Из машины вылез Фомин — первый секретарь райкома. Видно было, что в глубине кабины сидят еще люди.

Фомин одернул свой коричневый плащ, поправил серую кепку и, выбирая, где посуше, зашагал по рыхлой земле к руководителям таборского колхоза. Те поспешили навстречу.

— Здравствуйте, три богатыря! — улыбнулся Фомин, по старшинству первому Мирону Платонычу пожимая руку.

— Здравствуйте, Илья Николаич!

Фомин обернулся к машине, призывно махнул рукой. Из кабины выпрыгнул крепко сколоченный мужчина лет сорока, подошел.

— Вот знакомьтесь, Мирон Платоныч,— сказал Фомин,— Иван Иваныч Старцев, руководитель изыскательской партии. В обкоме согласились пересмотреть вопрос о Черном поле, Иван Иваныч со своими сотрудниками приехал взглянуть на ваш Заказ.

Мирон Платоныч, поначалу поглядывавший на Старцева настороженно,— кто его знает, чем еще огорошит, — расцвел, будто ему награду вручили.

— Хорошо, мил друзья, весьма это хорошо,— улыбаясь до того щедро, что глаза превратились в щелки, заговорил председатель.— Камень вы с моей души сняли, ей-богу... А вас, Илья Николаич, просто и не знаю, чем отблагодарить... Этакая оперативность, ей-богу...

— Ловлю на слове,— засмеялся Фомин.— Отблагодарите рекордным урожаем на Черном поле. Договорились?

— Да уж приложим все старание,— добродушно прогудел Мирон Платоныч.

Он знал об уважительном и, пожалуй, даже любовном отношении к себе со стороны секретаря райкома. В Фомине он чувствовал единомышленника, такого же радетеля о земле, как и он сам. Происходил Фомин из крестьян, в молодости работал трактористом, затем руководил МТС — словом, вся его жизнь была связана с землей. Все это давало Мирону Платонычу свободу, «развязку» в разговоре с секретарем райкома, Агафонов не стеснялся вступать с ним в пререкания, спорить, доказывать свое. Наделенный, однако, крестьянской наивной хитростью, старик не упускал случая пустить в адрес Фомина хвалебное, льстивое словцо, памятуя, что ласковое дитя двух маток сосет. И сейчас момент для закрепления дружественных отношений с начальством Мирон Платоныч посчитал благоприятным.

— Что и говорить, Илья Николаевич, слово вы умеете

держать,— промолвил он.— Тут нам надо у вас поучиться, право.

Фомин спрятал глаза,— видно, ему сделалось неловко от такой прямой похвалы, высказанной, к тому же, при посторонних. Что-то смекнув про себя, хитровато улыбнулся, вынул из кармана плаща пачку «Лайнера», предложил присутствующим. Синахвун и геолог Старцев взяли по папиросе, последним взял папиросу Фомин. Закурили.

— Ну что ж, Мирон Платоныч,— сказал секретарь райкома,— товарищей, что приехали с Иваном Иванычем, мы, я думаю, отпустим. Им еще надо на квартиры устроиться. Машина у них есть, пусть едут. Я-то свою отправил, так что принимайте нас с Иваном Иванычем на нашу таратайку пассажирами — съездим, посмотрим Заказ.

— Рады, Илья Николаич, завсегда рады!—расцвел улыбкой Агафонов.— А товарищей геологов мы устроим. Ты, Синахвун, вот чего: поезжай-ка с ними да определи на квартиру, а потом приходи в правление.

Машина укатила.

Глядя ей вслед, Яснов думал, что хотя и немало недостатков у таборского председателя, хотя и тяжел бывает он нередко, и упрям, и односторонен, а все же не зря уважает его секретарь райкома. Вон как обернул с Черным полем-то! Сколько гектаров хорошей земли сохранил! А ведь только-только приехал. Почему же он, Яснов, еще раньше не настоял, чтобы геологи ориентировались на Заказ? Ведь думал об этом, тоже ведь не круглый дурак. Думал, а ничего не сделал. Нет, значит, в тебе, Макар, настоящей крестьянской привязанности к земле... У Мирона Платоныча надо такой привязанности учиться. А Мирона Платоныча, в свою очередь, надо учить шире, по-современному смотреть на сельское хозяйство, чтоб выгоду его во всем объеме понимал. В этом, пожалуй, и заключается теперь твой долг партийного руководителя...

— Макар Макарыч, пойдемте,— прервал его размышления Фомин.

— Да, да,— отозвался Яснов и, взяв лошадь под уздцы, переправил подводу через Пархилову речку и вывел на дорогу, что шла к Заказу. Забравшись на тележку, пригласил то же самое сделать и остальных. Те захотели пройтись пешком, но вскоре у Фомина появилась одышка. Ходить ему было трудно, левая нога почти не сгибалась:

на войне угодила разрывная пуля. Яснов остановил лошадь, и все уселись на тележку.

— Конягу эту Чемберленом, по-моему, кличут? — сказал Фомин.

— Запомнили,— улыбнулся Яснов.

— Имя громкое.

Чемберлен, чувствуя, что говорят о нем, затрусил враскачку — вот, дескать, какой я шустрый. Фомин смотрел на Барские луга, молчал. Потом достал папиросу — курил он много — сказал:

— Вот вы мне давеча, Мирон Платоныч, всякие лестные слова говорили... Небось думали: и меня, смотришь, не обойдет похвалой Фомин — долг платежом красен. Ну, а не похвалит, так и не поругает. Потому, погладил я его по шерстке, отмяк. Думали так? Думали, думали, не отнекивайтесь. А я вот гляжу на эти земли, Мирон Платоныч, и так мне вас критикнуть охота... Ставлю всё другим в пример: вот, мол, радейте о земле так же, как Агафонов. А у Агафонова земли пропадает видимо-невидимо.— Фомин широким жестом показал на Барские луга.— За Черное поле вы вступились, а кто за это поле вступится? Пасынок оно у вас?

— Как... пасынок? — хрипло выговорил Агафонов, покрасневшее лицо его насупилось, как у обиженного мальчишки,— удобно ли такое выслушивать, да еще при этом Иван Иваныче — посторонний человек все-таки. Сказал: — Я за каждую пядь... сами разве не видите?

— Да вот что-то не вижу. Для чего служит эта земля? Стада колхозных овец кормятся ею? Или коров? Нет, не кормятся. И немалые деньги, которые должен бы выручить колхоз от продажи мяса,— не выручены. Десятки тысяч рублей зарыты в этой земле, а вам лень их раскопать. Вот вам и пядь... На месте ваших колхозников я привел бы вас сюда да спросил: почему, председатель, от этой земли никакой пользы мы не получаем? Выморочная она, что ли? Какая тут площадь?

— Сто двадцать,— ответил Яснов.

— Сто двадцать один с половиной гектар,— уточнил Мирон Платоныч.— Только вы зря, Илья Николаич. С двадцати трех гектаров, что по берегу Свияги, накашиваем сена. А тут овцы и свиньи пасутся. Бывает, по весне и коровы щиплют.

— То-то и беда, что щиплют,— усмехнулся Фомин.— Да и что тут можно ущипнуть после свиней? Они же всю

землю перекопают... Сто двадцать гектаров — ведь это силища! Ну хорошо, у Свияги сено снимаете... А остальное? Распахать бы вам эти так называемые луга, засеять их травами, свеклой или той же кукурузой. Корма получили бы столько — утроить смогли бы поголовье скота. Да и огороды расширить не грех — вот вам лишние овощи. Речку вот эту перегородили бы запрудами,— Пархилова, что ли, она у вас называется? — развели зеркального карпа. Зачем, спросите, вам лишние овощи, да еще и рыба? А затем, что рядом завод встанет, при нем, само собой, поселок вырастет. А ведь это не просто завод, поселок — это рынок сбыта. Денег некуда будет девать! А будут деньги — будут новые фермы. Что? — весело щурясь, покосился Фомин на Мирона Платоныча.— Не надо вам ферм? Ну, не надо, так не надо; другие, те же стородниковцы, у вас из-под носу жом перехватят. Это отход сахарного производства, прекрасный корм для скота. Что, жалко упускать? Так поворачивайтесь, Мирон Платоныч, не брезгуйте денежками, даже если они не в пшенице и не во ржи найдены. Создавайте многоотраслевое хозяйство. От завода проведете электричество, да и всякую другую помощь, коли сами не дураки, получить сумеете. Поговорили бы обо всех этих вещах на правлении, а еще лучше: собрали бы правление вместе с партбюро. У вас ведь, я знаю, есть энтузиасты животноводства.

Фомин бросил взгляд в сторону Яснова, но тот не принял его слова в свой адрес, сказал:

— Главный наш энтузиаст — Евдокия Платоновна, родная сестра Мирона Платоныча.

— По-видимому, умная женщина,— отозвался Фомин.— И беспокойная.— Он подтолкнул Агафонова локтем: — Как, Мирон Платоныч, беспокойная у вас сестрица?

— Да уж надо бы больше, да некуда,— по-доброму пробурчал старик, уже немного отмякший, довольный тем, что секретарь возвеличил его сестру Евдук — все-таки одна кровь-то!

Слушая деловито-точную и вместе с тем накаленную речь Фомина, Яснов сейчас особенно отчетливо начинал понимать, как много ему недостает для того, чтобы действительно с пользой для дела руководить партийной организацией. Ведь вопрос о расширении ферм он поднимал не однажды, и каждый раз правление и партийное бюро встречало его речи с прохладцей. Единственное, что

ему удалось,— это занять под свиноферму бывшую конюшню, имея в виду в будущем увеличить поголовье свиней. Требовалось еще доказать, что скотоводство выгодно, а доказать это при небольшом стаде нелегко, ибо степень выгодности повышается с увеличением количества скота. Словом, не сумел Яснов убедить людей. А Фомин умеет. Как же это у него получается? Вроде и говорит-то общо, без конкретных цифр. Но убедительно. Может, оттого, что уверен в правоте своей? Или авторитет должности завораживает? Да нет, пожалуй. Ведь о будущем сахарном заводе он доложил так, что у Мирона Платоныча глаза загорелись. А его в таких делах на авторитет не возьмешь. Словом, зажег старика. А он, Яснов, не сумел. Допустил простенькую психологическую ошибку. Доказывал необходимость строительства завода с точки зрения его пользы для государства вообще. А Фомин указал на те выгоды, которые может извлечь из данной ситуации колхоз. И попал в точку. Мирон Платоныч давеча откровенно польстил Фомину: у вас, мол, надо учиться слово держать. Слово держать вряд ли учатся; его держат или не держат — это от характера зависит, от воспитания. А вот умению находить такие повороты темы, такие слова, которые, как волшебный «сезам», способны открыть ту или иную дверцу в душе человека,— вот этому поучиться у Фомина определенно следует.

Разговор иссяк. По чутко настороженному лицу Фомина можно было угадать, что он прислушивается к трелям жаворонков, а может быть, и к всплескам Пархиловой речки. Он выбросил очередной окурок и повернулся к Мирону Платонычу:

— Все хочу спросить, да забываю: почему ваше село называется Табор?

— Слышал я давным-давно от стариков,— сказал Агафонов,— будто лет четыреста назад царь Иван Грозный с войском проходил нашими местами на Казань. На берегу Свияги войско, стало быть, остановилось табором на дневку. Ну, какие ратники поослабли или там хворые,— словом, кому дальше идти невмоготу стало, их царь тут в таборе оставил: мне, мол, с вами, мил друзья, вожжаться некогда, мне Казань брать надо. Ну, одни померли, а кто выжил, поставили избы, добыли себе жен-чувашек в окрестных селениях. А название-то за местом так и осталось: табор да табор... И до сей поры — Табор.

— Значит, все вы тут от ратников царя Ивана Грозно-

го происходите — военная косточка? — улыбнулся Фомин.

— Кто от ратников, а кто от хлебопашцев да охотников,— теперь уж не разберешь. За четыре-то века перемешался народ; ежели разобрать — так все, чай, друг другу родня в селе, хоть дальняя, а родня...

— Так где же ваш Заказ, товарищи? — оглядываясь, спросил Старцев.— Далеко до него?

— По краю Заказа едем,— сказал Мирон Платоныч.

— О, там речка рядом — это неплохо...

Мирон Платоныч взял у Яснова вожжи, свернул с дороги, затем слез и повел Чемберлена под уздцы, лавируя между черными полусгнившими пеньками. Добравшись до середины Заказа, остановил лошадь. Старцев встал на тележке, огляделся; на лице его отразилось удовлетворение.

— Я думаю, площадка подойдет.

Мирон Платоныч снял фуражку и, встряхнув свой пестрый платок, с облегчением вытер лоб и шею.

Яснов остался доволен тем, как прошло объединенное заседание правления и партбюро, собранное по совету Фомина в тот же день. Говорили дело, критиковали не стесняясь. Досталось и председателю. Особенно от его сестры Евдокии Платоновны. Нельзя сказать, что и раньше не подвергался председатель критике. Но была она робкая, половинчатая. Мирон Платоныч крепко держал собрание в своих руках, не стеснялся нажимать на правленцев, чтобы провести в жизнь нужное ему решение. Сегодня, связанный присутствием секретаря райкома, сидел тише воды ниже травы. В своем небольшом сообщении Яснов изложил мысли Фомина, которые полностью разделял. Полевые работы начнутся не сегодня, так завтра, поэтому внести коренные изменения в план посевов было уже невозможно, и все же правление и партбюро сумели внести в него кое-что новое: решили расширить огород, посеять сахарную свеклу и травы, устроить две плотины на Пархиловой речке. Постановили завтра обсудить все это на общем собрании колхозников.

Говорилось об увеличении поголовья скота, о постройке новых свинарников и коровников. На сей раз правленцы согласились с доводами Яснова и решили внести пункты о скотоводстве в перспективный план развития колхоза.

Фомин, Яснов и Мирон Платоныч вышли из правления

последними, уже затемно. Стоило им на несколько шагов отойти от конторы, как они потеряли друг друга из виду в густой чернильной тьме. Мирон Платоныч нечаянно сошел с тропки и выходными ботинками, на которые по случаю заседания сменил постоянную обувь — яловые сапоги, влез в лужу. Яснов, услышав всплески, подхватил его под руку, вывел на тропу. «Символично»,— подумал Фомин.— Вслух сказал:

— Пора, друзья, пора электричеством обзаводиться. Ведь в такой кромешной тьме без вести можно пропасть.

Мирон Платоныч только вздохнул в ответ. Летом, в июне, в июле, ничего еще было, светло по ночам, зимой — тоже, от снега... А весной да осенью — беда. Хорошо, коли луна, а то идешь как в темном чулане — руки вытянувши. Мирон Платоныч взглянул на небо, густо усеянное звездами. В северной стороне, на линии горизонта, виднелась россыпь желтоватых крупных звезд — это светились огни Ста Родников. Вот ведь диво: смотришь — будто и вправду звезды спустились с неба. Когда-то в Таборе загорятся те звезды?

Поравнявшись с избою Яснова, остановились.

— Домой, Макар Макарыч? — спросил Агафонов.— А ты полно, мил друг, чай, в избе-то не семеро по лавкам. Пойдемте-ка, товарищи, ко мне. Моя Велима Ивановна небось прослышала про приезд Ильи Николаича и подготовилась. Сегодня уж домой-то не поедете, Илья Николаич? И хорошо: посидим, потолкуем... Вот вы меня за скотоводство ругаете, а я свою дочку на свиноферму послал... Вместо института. Да... Кхе-кхы...— Прокашлявшись, Мирон Платоныч замолчал и подозрительно прислушался: не смеется ли Яснов... Тоже парень-то — перец... Успокоившись на сей счет, сказал: — У меня бы и переночевали. А? Илья Николаич?

— У вас я как-то, помнится, ночевал, Мирон Платоныч, что ж опять стеснять... Вот у парторга вашего еще не гащивал. Примете, Макар Макарыч?

— С радостью.

— Да какое же у тебя гощевание, Макар, ужина приготовить некому? — ревниво заметил Мирон Платоныч.

— Сам приготовлю...

— Да еще я помогу,— подхватил Фомин.— В солдатах все приходилось самому делать. Теперь избаловался, жду, когда жена сварит. А Макара Макарыча баловать некому.— Положил руку Яснову на плечо.— И по сей

день некому, а? Макар Макарыч. — Не дожидаясь ответа, шагнул к воротам.— Ладно, зайдем. А вы, Мирон Платоныч, передайте от меня привет Велиме Ивановне. Может, загляну еще завтра.

— Спасибо. Спокойной ночи.

Фомин проводил взглядом неясный силуэт старика, расплывавшийся во тьме, и на сердце легла непонятная тяжесть. Почувствовал что-то вроде раскаяния: в поле, да и на правлении, пожалуй, говорил с Агафоновым резковато. Годы и войны и так уж измотали человеку нервы в полную меру. Но как же быть? Как защитить нервы, свои и чужие, если сегодня требуется совершить такое, что еще недавно считалось уделом завтрашнего дня? Жизнь требует нервов и нервов, и никак их не сберечь. Нет такой возможности.

Яснов приподнял на руках и открыл скрипучую створку ворот, сколоченную из прясел. Навстречу от крыльца просеменил пятнистый кот, задрав хвост, начал тереться об ноги хозяина.

«Вот он, старый холостяк, во всей красе,— подумал Фомин.— Вместо детей дома кот встречает».

Макар Макарыч взял мурлыкающего кота на руки, торопливо, должно быть стесняясь гостя, погладил и опустил на крыльцо. Из почтового ящика достал газеты, какой-то журнал, без ключа, одним резким движением руки открыл крохотный замок. Фомин ожидал увидеть неопрятное жилище, источающее кислый запах, собирался даже в полушутливой форме пожурить Яснова — и был приятно удивлен, когда ожидания его не оправдались. Три маленьких окошка — два смотрели на улицу, одно на двор — парадно красовались белоснежными до синевы занавесками. Стол был застелен цветастой яркой скатертью, на тщательно заправленной кровати — покрывало. Желтые, глянцевитые полы сияли чистотой. Печь свежепобелена, рядом сложены дрова; зная, что вернется поздно, хозяин, видно, приготовил их загодя.

— А знаете, Макар Макарыч,— вешая плащ, проговорил Фомин,— у вас здесь женским духом пахнет.— Весело блеснул глазами.— Вопрос: как это вы ухитряетесь совместить данный факт с вашим холостым положением?

Яснов не сумел скрыть замешательтства. Помолчав, он сказал так, будто не слышал слов гостя:

— Проходите, садитесь, Илья Николаевич.

Затем присел перед печкой и стал закладывать в нее

дрова. Покончив с этим, выпрямился, сказал без улыбки:

— Холостой-то я холостой, да не монах. Есть у меня женщина. Любим друг друга. Вот такая неприятная для секретаря парторганизации штука.

«Значит, автор письма не врет»,— подумал Фомин. Собственно, и в гости к Яснову секретарь напросился главным образом затем, чтобы выяснить, правда ли написана в письме. Капитальное дело. Как разрешит его Макар Макарыч? Конечно, в распоряжении его, Фомина, немало средств заставить Яснова прекратить эту связь. От уговоров и дружеских советов до принуждения, в порядке партийной дисциплины. Восстановится спокойствие. Обиженный Емеськин будет удовлетворен. Но Яснов? А Александра Ударова? Почему они сбрасываются со счетов? Почему справедливыми считаются претензии Емеськина, но не претензии Яснова и Ударовой? Нет, он, Фомин, на их стороне. И пока он секретарь райкома, партийные органы не вмешаются в дела этого классического треугольника.

— Посмотрите пока, а я сейчас,— сказал Яснов, кладя перед Фоминым вынутые из ящика газеты. Сам же выставил на кухонный стол сковородку, миску с картошкой, сваренной в мундире, и начал ее чистить.

Фомин перелистывал газеты, но читать их не хотелось. Вспомнилась фраза из письма Емеськина: «Моя жена коммунистка Санькка Ударова совсем морально разложилась, и наш парторг Макар Яснов тоже такой». Санькку Ударову Фомин знал хорошо. В прошлом году ее бригада на площади восемьдесят три гектара получила урожай по тридцати шести центнеров. Ржи — до двадцати пяти центнеров. Молодец женщина! Характер незаурядный. Энергия. Решимость. Разлюбит такая — никакими письмами, никакими выговорами вернуться к мужу ее не заставишь. И разлюбить любимого не заставишь, хоть голову руби. Это из той породы женщин, о которых у Некрасова сказано: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» А вот что такое ее муж, Прохор Емеськин? Спросить у Яснова, что ли? Но тогда надо рассказать о письме... Нет, ни к чему будоражить зря... Надо по-другому...

В сенях послышались шаги, раздался стук в дверь.

— Войдите, войдите! — отозвался Яснов, водружая на плиту сковородку, полную, с верхом, нарезанной картошки.

На пороге вырос Якку. Сегодня этого парня в конторе

Фомин видел — он подал председателю заявление о выходе из колхоза в связи с поступлением на работу в геологическую партию. Якку не ожидал встретить здесь секретаря райкома и в нерешительности остановился у двери. Снял кепку, кивнул:

— Добрый вечер.

— А-а, племяш! Проходи,— пригласил Яснов, и Фомину: — Узнали? Давеча заявление принес в контору. Якку Урнекеев, мой племянник.

— Рад познакомиться,— встал и подал руку Фомин.— Садись, Якку. Сейчас твой дядя угостит нас жареным,— вишь, как старается.

Яснов сокрушенно махнул рукой. И смысл этого жеста секретарь райкома отлично понял: рад бы угостить разносолами, да нет ничего, кроме картошки и черствого ржаного хлеба. Откуда же быть, коли кур и скотины не держит, огород не возделывает.

«Да, брат, жениться тебе надо,— подумал Фомин.— И не откладывать это дело в долгий ящик».

И живо повернулся к Якку, подсевшему к столу:

— Слышал — хочешь поработать с геологами?

— Да. А как начнется строительство завода, пойду туда. Говорят, там можно получить специальность без отрыва от работы.

Якку встал, повесил на гвоздь кепку, которую до того держал в руках, и опять сел. Смущение его прошло, захотелось поделиться своими планами с опытными, знающими людьми.

— Я ведь, Илья Николаевич, что хочу? Денег заработать на ремонт избы. Сруб погнил, перебирать надо. Колхоз помочь мне не может. Да и где у нас в колхозе заработать такую прорву? Люди вон скотину держат, а у меня ходить за скотиной некому — мать больная. Торговлей заниматься, как Купцов? Так не приучен, да и нечем торговать-то.

— Слышишь, Макар Макарыч?

— Правлению это известно, Илья Николаич, не раз говорилось. Жизнь у нас здесь пока такая.

Яснов поставил на плиту чайник и присел перед печкой на опрокинутую корзину. На лицо его падал алый трепетный свет от горящих дров. Фомин подумал, что сейчас и он с удовольствием посидел бы перед топящейся печкой. В детстве он любил смотреть на огонь. Бывало, как только мать затопит печь, он не отходит от нее, ко-

чегарит, пока не протопится. И сейчас слышится ему из тех далеких лет веселый треск сухого валежника. Сидит, бывало, и плюет в огонь, прислушиваясь к сердитым «пшикам». Мать одергивала: «В огонь не плюют,— на губе болячка сядет». И он верил...

Чуваши издавна почитали все, что жизненно важно для человека, без чего нельзя обойтись. Такие же моральные нормы прививали и детям. Конечно, не убеждением прививали, убеждать было некогда, а брали на испуг — так казалось понятнее, да и запоминалось лучше. Плюнешь в огонь — губа заболит, испоганишь родник или реку — кто-нибудь из родни в воде утонет, бросишь хлеб на землю — голода не минуешь...

— Затянули вы перестройку хозяйства, отстали от соседей,— сказал Фомин.— Колхозники благополучие свое связывают с личным огородом и личным скотом. А ведь основной-то доход они должны получать от колхоза.

— Да и у нас колхозники не задаром работают,—счел необходимым защитить свой колхоз Якку.— И коли не сравнивать нашу жизнь с жизнью в других колхозах, то вроде все и хорошо. А начнем сравнивать со Ста Родниками или Ольховым Озером и видим: они живут куда лучше нас.

— Почему?

— Шайтан его знает. Народ, что ли, другой? У нас, к примеру, на отчетно-выборном собрании выступят председатель, член ревизионной комиссии, уполномоченный там, парторг — и все. А был вот я однажды на собрании в Ста Родниках, так даже удивился: человек десять рядовых колхозников выступило. И каждый что-то предлагает, отстаивает. А у нас так: хорошее не радует и плохое не печалит. Привыкли на председателя полагаться,— он до всего сам доходит.

— Слышите, Макар Макарыч?! — обернулся секретарь райкома к Яснову.

— Слышу. Пока все правда.

— И дальше правда будет,— загорелся Якку, воодушевленный вниманием, с каким слушал его Фомин.— Урожаи снимаем хорошие, а денег мало. Скота не можем развести побольше — фермы не на что строить. Разве что из самана. Да и кормов нет. Всюду твердят и по радио и в газетах: забота о людях, без заботы о работниках не жди и высокой производительности труда... А у нас, еким-меким, клуба порядочного не могут выстроить. Нет средств.

В библиотеку зайдешь — хоть вешайся с тоски: одни брошюры про стрижку овец...

— Слышите, Макар Макарыч?

— Заказ в книготорг послали. Поеду в город, утрясу.

«А этот Якку не так прост, как может показаться с первого взгляда,— одобрительно глядя на раскрасневшегося парня, подумал Фомин.— Острый молодой человек, и напорист, видно. Напрасно такими разбрасывается Мирон Платоныч».

— Теперь возьмем занятость населения,— продолжал без передышки Якку.—Я ведь журналы почитываю: знаю: занятость населения — коренная проблема, от нее зависит уровень жизни. Ну, весной, летом, осенью у нас работа еще есть. А зимой? Зима-то без малого полгода длится. Кто занят у нас зимой? Одни механизаторы. Ну я вот еще — на складе и летом и зимой сидел. А остальным ребятам, тем более девчатам, что у нас зимой делать? По посиделкам ходить? Вот и бежит молодежь из села, еким-меким... Как ее осудишь? А тут, конечно, еще и зависть. Недели две назад парень из города в отпуск приехал, к матери. Окончил он когда-то с грехом пополам четыре класса, а смотрю: одет, словно артист в кино. Хромовое, рублей, поди, в триста, пальто, костюм с иголочки, шляпа, галстук. Одни ботинки у него, у дурака, рублей тридцать стоят. А у меня единственный грубой шерсти костюм, в нем—и в пир и в мир. Пять лет назад за пятьдесят два рубля куплен. Все лето проходил в кирзовых сапогах, а выходным моим ботинкам цена — одиннадцать рублей. Настоящего пальто не нашивал, все в ватнике да в полушубке. И питаюсь не по-барски, и не пью, еким-меким, а на ремонт избы денег не накопил. Вы, может быть, Илья Николаич, осудите меня, как секретарь райкома: не к лицу, мол, комсомольцу так рассуждать. Согласен,— может, и не к лицу. Так что же этому комсомольцу делать? — ткнул он себе пальцем в грудь.

Якку посмотрел на дядю — рассердился, поди, за такую критику. Макар Макарыч невозмутимо ворочал короткой кочергой головешки в печке.

Фомин сожалел, что не притащил сюда Мирона Платоныча. Полезно было бы ему послушать горячие молодые речи этого парнишки.

— Давай переадресуем твой вопрос парторгу,— остро взглянул на Яснова Фомин.— Ну, парторг, так что же делать комсомольцу в Таборе?

— На свиноферму идти работать. Там занятость круглогодичная.

— Я считаю — дельный совет,— сказал Фомин.

— Да какая у нас ферма? Так себе, название одно. Пока доведем ее до дела — оборвусь окончательно, изба сгниет — баньки тогда из нее не сколотишь.

Якку вдруг хлопнул себя ладонью по лбу:

— Эх, совсем забыл за разговором-то! Я чего пришел? Сестра баню истопила... Вот и приглашает тебя, Макар... и вас, Илья Николаевич... помыться, в общем.

— Как, Илья Николаевич, смотрите на такое предложение? — помешивая шипящую картошку, отчего по избе распространялся аппетитный запах подсолнечного масла, спросил Яснов.— Тут, видите, сложилась пáрная троица: Якку, муж его сестры Синахвун Парфенов, вы его знаете, ну и я. Вас примем четвертым.

— А веники есть?

— А как же? Уже обварены,— заверил Якку.

— Я готов. Только уж поужинать придется после бани — париться лучше на голодный желудок.

— Подвели черту! — весело заключил Яснов.

Слазил в стоящий в углу сундук, достал чистые полотенца, рубашки, мыло, мочалки, все это завернул в газету и уложил в сетку. Разбил головешки в печке, прикрыл дверцу.

Звезды пропали, небо заволокло облаками.

Темнота сгустилась, на расстоянии полуметра уже ничего не было видно. Хотелось вытянуть руки — в такой черноте человек чувствует себя слепым и беспомощным.

— Ну, просто хоть пой лазаря,— усмехнулся Фомин.— Вы меня, други, не бросайте, а то вместо бани в колодец угожу.

К счастью, жил Синахвун недалеко — через четыре двора. Из окон на улицу падал желтоватый свет от десятилинейной лампы. Фомин заметил, что Якку с ними нет.

— Людей теряем, парторг. Хотя в этакой темноте и не диво.

— Придет в баню,— успокоил Яснов.— А насчет темноты — райком мог бы помочь с электричеством.

— Ага... Говорят вот тоже — Пушкин некоторым помогает. Нет, друзья, довольно виснуть на шее у государства. Вам даны все возможности для развития колхозной

экономики, значит,— для повышения жизненного уровня. И единственное, что от вас требуется,— не спать. Конечно, в такой благоприятной темноте это нелегко.

Посмеиваясь, пересекли огород, вышли на тропинку. Собственно, Фомин никакой тропинки не видел, он ориентировался на звук шагов идущего впереди Яснова. Вскоре он почувствовал, что местность начала понижаться, в лицо потянуло речной влагой. Видно, они спускались к Свияге. Неподалеку показалось тусклое желтое пятнышко. Фомин догадался: освещенное окошко бани. Пройдя несколько шагов, они очутились перед светлой тесовой, видно, новой дверью.

Вошли в предбанник. Тут было темно. Яснов по старинному обычаю крикнул:

— Кто в бане есть?!

Из парной отозвался Синахвун:

— Я тут! Давай быстрей, Макарыч, банька-то сладка удалась.

Фомин зажег спичку, при ее свете нашел, куда вешать белье, и начал раздеваться.

Пол предбанника был устлан сухой картофельной ботвой. Крупные стебли ее впивались в голые подошвы, заставляли переступать ногами. Свежий ветерок, пробивавшийся сквозь щелястые стены, подирал гусиной кожей предплечья и грудь. Нагнув головы, чтобы не задеть низкую притолоку, Яснов с Фоминым нырнули в парную. Их обдало кисловатым духом накаленной каменки, распаренного березового листа и мокрых еловых половиц. Свет лампы едва пробивался сквозь горячий туман. Мутным пятном тлела в углу печь с каменкой, на полкé шевелилось что-то живое.

— Угара вроде нет,— послышался оттуда голос Синахвуна.— А жару и после нас останется...

Он свесил голову с полкá, заметил постороннего, спрыгнул на пол, взмахнул руками:

— Никак, Илья Николаич?! Вот неожиданность-то!

— Что ж тут неожиданного? Что секретарь райкома тоже иногда моется в бане?

Все трое засмеялись. И смеялись так, как смеются только в бане да за праздничным столом,— не столько от смешного смысла сказанного, сколько от радости бытия.

Фомин присел на низкую лавку возле окна; стоять было невозможно — горячий пар перехватывал дыхание, обжигал лицо. Яснов опустился рядом, сказал:

— Ну, если Синахвун начнет париться — все из бани.

— А это мы еще посмотрим,— поддаваясь возбуждению, громко проговорил Фомин.— Как бы он сам не убежал, когда я начну хлестаться.

— Любитель, значит? — поинтересовался Яснов.

— Еще в детстве дед приучил. Знаменитый был парщик! Бывало, до того упарит — отец уж на выручку приходит. Тогда дед опрокинет на меня ковш студеной воды и — лето, зима ли на улице — выставит в холодный предбанник: закаляйся!

Якку пришел, когда уже помылись по первому разу, что называется, начерно. Парень стеснялся своей наготы. Прикрывшись широкими ладонями, не знал, куда себя деть. Наконец пристроился рядом с Ясновым, начал намыливать голову.

В углу что-то лопнуло, будто выстрелили, с шипением взметнулся пар и заполнил тесную баню. Это Синахвун плеснул воды на раскаленную каменку. Видимости не стало никакой. Лампа то ли погасла, то ли свет ее не мог пробиться сквозь толщу пара.

— О-о-о! Вот добро-то... Вот где настоящий-то ситмах [1],— донеслись с полка стенания Синахвуна.

Вслед за тем послышались хлесткие удары веника, и запах березового листа сделался до того густым, что у Фомина возникло ощущение, будто он плавает в каком-то живительном березовом растворе, просачивающемся сквозь кожу внутрь, размягчающем кости, очищающем душу и мысли.

От полка гулко прошлепали шаги, стукнула дверь, обдав ноги холодом,— это выбежал на улицу распаренный Синахвун. Заухал, заахал, как леший,— видно, вылил на себя ведро воды из кадки.

— А ты говоришь — у вас в селе ничего хорошего нет.— Фомин подтолкнул Якку локтем.— В городах понятия не имеют о такой вот бане. Там в каждой квартире ванна, душ — удобно. Но кто сказал, что самое удобное и есть самое полезное?

— Агитируете? — улыбнулся Якку.

— Угадал, сынок.

В бане посветлело, пар немного рассеялся, поредел. Влез с улицы Синахвун — весь красный, как вареный рак. Кивком указал на полок:

---

[1] Ситмах — благодатное место, рай.

— Ваш черед, Илья Николаевич.

Фомин плеснул на каменку, забрался на полок и, плавая в пару, начал хлестать себя веником. Удары были чувствительны, обжигали кожу, хотя листья и смягчали секущую силу тонких лозин. Пару... Требовалось поддать еще пару... Ошпаренная кожа станет менее чувствительна. Вот тогда-то веник и заберет настоящую власть над телом.

Фомин зачерпнул еще полковшика и выплеснул на каменку. Теперь дышать надобно осторожно и только через нос... А веником работать самое время. Пока жар живой...

Когда Фомин слез с полка, в парной никого не было. Даже Синахвун не выдержал — набранная им в таз вода для мытья так и осталась нетронутой. Фомин толкнул дверь, проходя через предбанник, бросил через плечо:

— Идите домывайтесь, слабаки!

И сам подивился мальчишеской гордости, которая прозвучала в его словах.

Синахвун выбежал следом, смеясь, зачерпнул в кадке ведро воды и окатил ослабевшего вдруг от страха Фомина жидким обжигающим холодом. Тот, судорожно охлопывая грудь, будто не веря, что не рассыпался еще по косточкам, заухал, застонал точно так же, как перед тем ухал и стонал Синахвун. Но уже в следующую минуту почувствовал необыкновенную послушность, свежесть во всем теле, мышцы словно бы получили добавочную упругость.

Поблагодарив Синахвуна за баню, Яснов вместе с гостем вернулись домой. В избе было тепло. Яснов заглянул в печь и задвинул вьюшку. Затем освободил стол от книг, расстелил на нем газету, поставил сковородку с подрумянившейся на плите картошкой, нарезал на тарелку солонины, ржаного хлеба. Достал из тумбочки и водрузил на стол пол-литра водки. Только теперь понял Фомин, куда «потерялся» Якку по дороге в баню — бегал за водкой.

— Значит, пьянку начнем, Макар-Макарыч?

— Какая ж пьянка? После бани...

— Что-то у нас по баням народ зачастил. А? Не находите?

— Нет, не нахожу. Дело, думаю, в другом. Виднее, заметней стал теперь пьяный человек, особенно буйный. Заметнее и отвратительнее. Потому что люди в массе своей стали намного культурнее, чем, скажем, до войны. Или в первые послевоенные годы.

— Что ж, в этом резон есть. Но, наверное, и употреблять ее,— Фомин стукнул тыльной стороной ладони по бутылке,— стали больше. У вас в Таборе самогон гонят?

— К сожалению, есть, Илья Николаевич,— вздохнул Яснов.— Гонят. От случая к случаю, конечно. К празднику, к свадьбе... Купить — где ж такую прорву денег взять? А без спиртного — и праздник не праздник и свадьба не свадьба. Привычка у людей. Даже не то чтобы привычка, глубже — обычай.

— Не надо далеко ходить: «после бани» — тоже ведь обычай,— поблескивая глазами, поддел Фомин.

— Верно,— спокойно согласился Макар Макарыч,— и давайте уж его не нарушать.

Он положил на стол луковицу, поставил солонку и два тонких стакана, в которые до половины налил водки.

— Будьте здоровы, Илья Николаич.

— Ваше здоровье, Макар Макарыч.

Опростав стаканы, оба крякнули, промигали заслезившиеся глаза, закусили луком с солью и принялись за картошку.

Невзирая на все возражения Фомина, Яснов постелил ему на кровати, сам улегся на раскладушке.

Сон не шел к Фомину. Перед глазами словно разматывалась звуковая кинолента — проходили события минувшего дня, в ушах звучали разговоры, фразы, слова, слышанные сегодня в обкоме, на полях, в правлении, в бане, за столом.

Потом стало почему-то очень жарко. Фомин сбросил с себя одеяло, но это мало помогло. В довершение всего началась изжога. Знал ведь, что пить не стоило, и все-таки выпил. Не хотел, чтобы Яснов подумал, будто он желает перед ним выглядеть этаким святым апостолом. «Чепуха какая-то, право. Мог же, в конце-концов, сослаться на желудок. И Яснов хорош: скорее бутылку на стол — обычай! Хотя обычай ко всему этому имеет лишь косвенное касательство. Баня лишь повод. А причина в том, надо полагать, что Макар Макарыч сообразил: секретарю райкома известно о его отношениях с Ударовой. Некоторые мои фразы могли навести его на эту мысль. Решил, наверное, поговорить по душам... Но мне исповеди не нужно. Чужие личные дела — это чужие личные дела».

Фомин понял, что не заснет. Встал, сунул ноги в стоявшие возле печки валяные опорки, накинул плащ и вышел. На улице было тихо. Безветренно. И светло.

Наконец-то светло. Над Лысой горой взошла полная, кирпичного цвета луна. «Ничего, будет в Таборе светло и без луны»,— подумал Фомин. Запахнул плащ — стылый воздух заползал под рубашку. Долго стоял у калитки, прислушивался к шорохам весенней ночи.

•

Глава седьмая

Шли дни. Евдокия Платоновна продолжала работать на свиноферме и разговора об уходе на пенсию не поднимала. Когда же Аврам Линьков со своей наивной бесцеремонностью захотел узнать о сроках ее «увольнения по чистой», как он выразился, Евдокия Платоновна смерила его строгим взглядом с головы до ног и сказала:

— Что это, милок, ты обо мне заботишься? Иль я старуха?

Впрочем, и Аврама и Марись обрадовало решение старой свинарки поработать на ферме еще. Оба понимали: без нее дело у них вряд ли бы пошло. Марись о свиньях, об их выращивании не знала ровно ничего. Аврам хотя и знал кое-что, но, главным образом, теоретически, из учебников.

Бывшую конюшню — продолговатое строение из самана — перестроили в свинарник. Плотники убрали оттуда старые колоды и стойла, залатали щели, разбитые окна застеклили, очистили и привели в порядок двор. Они же рядом с дежуркой — бывшей избушкой конюхов — сколотили сарай. В сарае установили печь с котлом и дали всему этому название — кормокухня. Поросята, выделенные для откорма, были разного возраста. Пришлось разделить их на две группы: в одну вошли поросята более крупные, а в другую — более мелкие. И свинарник, и двор также пришлось разделить пополам. Это создало дополнительные трудности, но другого выхода не было. «Ничего, ребятушки, лиха беда начало!» — одобряла Евдокия Платоновна Аврама и Марись.

Яснов, ежедневно бывавший на ферме, помогал, как мог. Распорядился установить около колодца кадушку чуть ли не в рост человека,— если наполнять ее в более свободное время, то в часы «пик» вода будет под руками,— знай черпай. Дал слово Евдокии Платоновне, что съездит в город и непременно достанет колодезный насос.

Сегодня с утра на ферму пришел Мирон Платоныч,

Все осмотрел и, желая сделать своей сестре приятное (энтузиастка!), принялся перед нею расхваливать свинарник.

— Чего хорошего ты здесь нашел? — в сердцах оборвала Евдокия Платоновна елейную речь брата.—Чему радуешься? Тоска одна смотреть...

— Да как же... все же... вообще...— растерянно залепетал Мирон Платоныч.— Отремонтировали... отгородили вот...

— Эка, обрадовался: отгородили... От нужды и отгородили-то... В других колхозах свиноматок в одно время случают, и молодняк получается одного возраста. С ним при откорме и хлопот меньше. А у нас никакого порядка... Сегодня одна опоросится, завтра — другая, через неделю — третья, через месяц — еще. Наказание господне для нас — не работа. А свинарник? — Евдокия Платоновна постучала костяшками пальцев по стене.— Ткни посильней — и обвалится саман. А ему, вишь, эта глиняная хибара по нраву пришлась! Тьфу!! — Евдокия Платоновна плюнула в сердцах и кончиком платка утерла рот.— Диво бы верхогляд какой, дела не знал... А уж ты-то ведь, Мироша, бывал в других хозяйствах, видывал свинарники-то настоящие. Там свинарка ведра в руки не берет. Корм у них из кухни по трубе подают, пол очищают струей из шланга. А мы день-деньской ведра да навозной лопаты из рук не выпускаем...

Огорошенный столь решительной отповедью, председатель стоял, не зная, что ответить и что в данный момент предпринять: то ли молча уйти, то ли произнести какие-нибудь успокоительные слова. Уйти безответно, пожалуй, и негоже: тут вон и Марись стоит, слушает, и студент этот, Линьков,— весело паршивцу, рот до ушей... Рады небось — председателя отчитывают...

— Тетя Евдук, по-моему, напрасно ты ругаешь папу,— услышал вдруг Мирон Платоныч четкий, без робости, голос дочери.— Похвалил он не ферму, а труд плотников и наш труд... И... и надо же нервы его поберечь...

Мирон Платоныч со страхом ощутил, как к глазам прилила горячая влага... Эх, не хватило еще прослезиться... Старею... А дочка-то... а? Дочка!..

Преувеличенно хмурясь, сказал:

— Ну, хватит, хватит,— и неизвестно было, к кому относятся эти слова: к Евдокии Платоновне или к Марись.—Принято решение нынешним летом построить боль-

шой свинарник и такой же коровник. Не слышала, что ли?

— Отколь мне слышать? Я тут с головой завязла: ни на правление, ни на собрание выбраться некогда...

— Ну так вот и говорю: каменные думаем поставить. Обе фермы. Дворцы дворцами...

Марись смотрела на отца, и глаза ее туманила жалость. Она, кажется, только сейчас заметила, что отец ее — старик. Он сильно поседел, усох, стал как будто меньше ростом. Лицо измученное, под глазами мешки... Не удивительно: из дома уходит до свету, возвращается к полуночи. Бегает целый день, забывает пообедать, придет поздно—не до ужина... Оттого, видно, и страдает печенью да желудком. Отказаться бы отцу от председательства, отдохнуть бы... Да разве он откажется? В колхозе — вся его жизнь.

— А начнут строить завод,— продолжал просвещать сестру Мирон Платоныч,— проведем электричество, из Свияги по трубам пригоним на фермы воду. Так что Марись и ее подружкам спину ломить не придется.

— А мне что же — все ломить?

— Экая ты! — засмеялся Мирон Платоныч.— Я про тебя и не говорю,— ты, чай, на пенсию уйдешь. Отдохнуть пора, сестрица.

— Ну да, покуда сейчас-то ведра да лопату из рук не выпускаешь, так работай, сестрица, вволю, надрывай хребет. А как делать нечего будет на ферме, так пусть молодые ничего не делают, а ты, старая телега, на пенсию ступай... Спасибо, братец, тоже рассудил! — Евдокия Платоновна отвесила председателю колхоза поясной поклон.

— Будет тебе, будет, Евдук! — построжал Мирон Платоныч и даже ногой притопнул.— Ишь моду взяла: ты ей слово, она тебе — десять. Работай хоть до ста лет, хоть до самого коммунизма,— никто тебя на пенсию не гонит.— Оглянулся на Марись и Аврама, кивнул в их сторону:— Вон, молодежь учи...

Марись заметила: отец переменился с тех пор, как приехал с курорта. Куда-то подевалась его прежняя твердость, непоколебимая уверенность в себе и собственной правоте. Стал он беспокоен, суетлив, точно предстоял отъезд и он боялся опоздать на поезд. Нередко по вечерам расспрашивал Марись о делах на ферме; взял в библиотеке брошюру об откорме свиней, и, надев очки, вывернув донельзя фитиль десятилинейной лампы, читал. При этом шевелил губами. Когда представлялся случай, не забывал

упомянуть, что собственную дочь, вместо института, он послал на ферму. Марись помалкивала, не пыталась восстановить истину. Понимала: отец и сам уверовал в свои слова.

— Учи молодежь, Евдук,— повторил Мирон Платоныч и пошел к воротам.

Когда на следующий день после подачи заявления о выходе из колхоза Якку встретил возвращающуюся с фермы Марись около ее дома и попытался заговорить, она поджала губы и прошла мимо него с видом оскорбленной королевы. Это было ему наказанием за скрытность и «измену». Потом целых три дня Марись не видела Якку. На танцы к клубу она не ходила, на это не оставалось ни сил, ни времени, и ее обеспокоило: уж не проводит ли Якку там вечера без нее. Но тут все оказалось в порядке; подружка Тая доложила: около клуба Якку не появлялся.

На следующий день, выйдя с фермы, Марись увидела, что он ее поджидает. И хотя она ответила на его приветствие и позволила ему идти рядом до самого ее дома, но всю дорогу молчала, будто в рот воды набрала. Пусть прочувствует!

И вот прошло уже несколько дней, а Якку все не появляется. Марись слышала, что он работает в партии геологов на Заказе, работа срочная. Но все равно, мог бы выбрать время. При желании.

Зато Аврам Линьков большую часть своего рабочего времени проводил на свиноферме. А ведь в колхозе были еще коровы и овцы. И тетушка Евдук и Марись с благодарностью принимали его помощь. Старательный парень. Кадушка возле колодца у него всегда полна вровень с краями, корм сварен вовремя и разложен по кормушкам. А начнет чистить свинарник, так с ведрами все бегом да бегом — не угнаться за ним.

Одно смущало Марись — поглядывал на нее Аврам как-то уж очень откровенно, не скрывая своих намерений...

— Сегодня Мирону Платонычу целый день пешком ходить,— проводив взглядом председателя, сказал Аврам.

— Что-нибудь с Чемберленом? — встревожилась Марись. Она с детских лет знала эту лошадь, кормила ее хлебом с солью, каталась на ней верхом.

— Лошадь-то в порядке,— отозвался Аврам.— Сегодня я по дороге сюда встретил Якку...

— Где? — вырвалось у Марись.

— Мать повез в больницу. На председательской тележке. Говорят, совсем плохи дела у матери-то. А в больницу не хочет, насилу уговорил. Вот так, Марись. Короток человеческий век.

«Дура, какая же я дура и эгоистка,— казнила себя Марись.— Человеку не до меня, у него мать при смерти, а я выламываюсь».

— ...короток человеческий век, и поэтому прожить его надо со стопроцентной отдачей,—философствовал Аврам.— А мы вот, как эти хрюшки, тычемся носом в пол и ничего вокруг не видим.

— А что надо видеть?—тихо спросила Марись, а сама подумала: «Верно, не видим... Вот хоть я,— не видела горя Якку...»

— Что? Мало ли... Мир велик. Я, например, хотел бы повидать другие страны. Африку. Еще — Париж. Повидать разных людей. Попробовать разных вин и кушаний. И всего прочего... Попутешествовать, в общем.

Марись посмотрела на Аврама с любопытством.

— У тебя губа не дура. Но пока ты будешь путешествовать и пробовать... все прочее, кто-то должен на тебя работать. Иначе, где возьмешь средства?

— Смотри-ка ты,— в который раз вынужден был подивиться Аврам начитанности юной таборянки.— В тебе пропадает социолог и экономист.

— Вот-вот,— живо отозвалась Марись,— потому-то я и не желаю оплачивать твои путешествия своим трудом.

— Да я бы такого никогда и не допустил,— галантно улыбнулся Аврам.— Но на благо таборской свинофермы, в свою очередь, потрудиться готов. Ведь вы сегодня хотели солому для подстилок свиньям привезти?

— Да, да, солома нам нужна.

— Ну так я сейчас пойду и пришлю подводу.

Улыбчиво и мягко посмотрел он в глаза Марись. И Марись вынуждена была признать, что глаза у него красивые. Кончики темных ресниц, как у девушки, загнуты кверху. И чувствовалась в синеве его глаз какая-то бархатистая, обволакивающая нежность...

Да и вообще он ничего себе парень. Голову держит высоко, прямо, смотрит с легкой лукавинкой, на матово-чистых щеках чуть заметные ямочки... Право, симпатичный... О-о, Марись! Тебе от него надо держаться подальше...

Неожиданно для Аврама она повернулась и пошла в конец свинарника.

Под вечер прибыла подвода. Управлял ею дед Ахвунь—сторож молочной фермы. Был он сед как лунь, седина даже в желтизну ударяла, а сколько ему лет, того сам не знал. Но остроту зрения и — на диво — все до единого зуба дед сохранил. И сила еще не покинула — супонь затягивал в один прием. Мог бы еще и на возу постоять, да определили в сторожа. Иной раз, как сейчас вот, приходилось браться и за вожжи.

Только въехал дед Ахвунь во двор, как следом появился и Аврам.

— Ну, кто едет за соломой? — быстро обратился он к Марись и Евдокии Платоновне, подходя к фуре и по-хозяйски беря вожжи из рук деда Ахвуня. Не дожидаясь ответа, сказал: — Ладно, мы с Марись съездим. Верно, Марись? А ты, дед, подожди нас здесь, отдохни.

Дед Ахвунь, давно забывший времена, когда он отказывался от таких предложений, послушно пересел с фуры на стан поломанного плуга, невесть кем и когда брошенного около дежурки, и закурил трубку.

Аврам занял место деда, Марись села рядом, и старая кобыленка, взбодренная легким шлепком вожжей, тяжело зарысила со двора. Пока приехали на ток и начали накладывать солому, опустились сумерки. Солома вздымалась копною, бортов фуры под нею не было видно. Марись взобралась на воз, чтобы притоптать ее. Воз сразу ужался чуть ли не вдвое. Аврам стал подавать. Изъеденная мышами солома не держалась на вилах, поэтому подавать приходилось крохами; провозились дотемна. На небе высыпали звезды, а они еще затягивали веревкой воз.

Когда Аврам хотел уже трогать, Марись вдруг решила слезть с воза.

— Боюсь свалиться.

— О, женщина, боящаяся всего!.. — продекламировал Аврам.— Или, говоря языком прозы: трусиха.

— Я трусиха?

Марись раскинула руки, как крылья, и прыгнула с воза на остатки соломы. Упругая солома подбросила ее вверх, и чтобы не упасть, она ухватила Аврама за рукав пиджака. Тот будто только того и ждал: обнял Марись и прижал к груди. Так они стояли несколько мгновений. Марись почувствовала, как кончик его носа коснулся ее лба, потом щеки, как ищущие его губы скользнули вниз

к ее губам... И кто знает, чем бы это кончилось, если бы не поймала Марись на миг внимательный трезвый взгляд его красивых глаз.

Словно какой-то теплый сосуд перекрылся у нее в груди — стало холодно и неприятно. Она попробовала вырваться, Аврам держал ее крепко. Губы его дотронулись до ее губ.

— Пусти,— отчужденно сказала она.— Пусти. Или хочешь как в прошлый раз?

Объятья его ослабли, и, воспользовавшись этим, она освободилась от них.

Аврам пожал плечами, что должно было означать: «Как угодно, навязываться не в моих правилах».

Взял вожжи, сказал:

— Ну, поехали...

— Знаешь, ты один отвези, а я пойду,— проговорила Марись и быстро, не оглядываясь, вышла на дорогу, ведущую к селу. Во мраке там и тут светились тусклые огоньки. На краю села темнела на фоне неба высокая береза, что стояла перед домом Якку. Марись охватило чувство горькой обиды, и на глаза навернулись слезы. Она опять подумала, что Якку совершил измену, оставив ее одну, и теперь вот Аврам может сколько угодно приставать к ней и никто ее, несчастную, жалкую, не защитит. По щеке ее скатилась слеза, она вспыхнула, вытерла лицо рукавом. Оглянулась. Воз с соломой выбрался на дорогу, поскрипывали, постукивали на выбоинах колеса.

Поздно вечером, после того, как разгрузили воз, поменяли свиньям подстилку, накормили их, пришла Марись домой. Умылась, переоделась, поужинала и закрылась в своей комнате рядом с горницей — «светелке», как называл ее Мирон Платоныч. Зажгла лампу, села к столу, раскрыла книгу. Должно быть, от усталости, не читалось. В доме стояла тишина. Мать прилегла в ожидании отца. Должен бы уж скоро прийти.

«Хорошо у нас дома,— с теплым чувством подумала Марись.— И родители у меня хорошие. Добрые, ласковые. И живу я на всем готовом. А каково сейчас Якку?.. Может, печь не топлена. И обед не сварен. И спать лег голодный... И скучно ему...»

Она встала и, волнуясь, начала ходить по комнате из угла в угол. Хотелось немедленно что-то сделать. Побежать к Якку. Ободрить его. Накормить. Но ведь нельзя. Она девушка. Что скажут, коли увидят?

Издали доносились звуки баяна. Потом послышалась песня. Значит, танцоры устали и теперь уселись на бревнах.

Чуткий слух Марись уловил под окном осторожные шаги. Они затихли, и долетело легкое шуршание — кто-то, видно, провел рукою по наличнику...

Марись задула лампу и отогнула угол занавески. Перед окном стоял Якку. Лица видно не было, но она узнала Якку по его неизменному полупальто, по тому, как он чуть горбился.

Она распахнула форточку, приглушенно, чтобы не услышала мать, сказала:

— Якку, ты?

— Да.

— Подожди, я сейчас выйду.

На цыпочках она проскользнула в прихожую, в темноте нащупала сапоги, обулась, накинула пальто, платок и, стараясь не скрипнуть дверью, вышла. Якку ждал ее у крыльца.

— Здравствуй.

— Здравствуй, Марись. Вот хотел тебя увидеть...

— Только сегодня?

— Нет, но ты же... ты на меня сердишься...

— Пойдем к срубу — тут нас мама услышит.

Скрипнула калитка, и двое слились с темнотою.

День у Мирона Платоныча выдался суетный, напряженный. Хотя, коли подумать, то ненапряженных дней, как начались весенние полевые работы, не выпадало вовсе.

А тут еще геологи прибавили заботу. Пока не закончат изыскания в Заказе, Черное поле пахать нельзя. Потому — чем черт не шутит? Может статься, что грунт в Заказе слабый, для промышленного строительства непригодный. Тогда прощай, Черное поле! Но даже если с Заказом все в порядке, то мало радости узнать об этом через месяц — земля на Черном поле пересохнет. Словом, морока. Потому-то и наведывается Мирон Платоныч к геологам почти ежедневно, а случается — и два раза на дню. Пообтерся среди них, присмотрелся к технологии работы, понабрался терминов. А как же? Коли компанию водишь со специалистами, так понимай, что сам говоришь и что тебе втолковывают, а не мычи, ровно очумелая корова. Помычишь-помычишь эдак-то, а когда опамя-

туешься — поздно будет. Сунут тебе, рабу божьему, в зубы заключение лаборатории — будьте добры, отдайте для строительства Черное поле. Нет, ухо надо держать востро.

Если бы Мирона Платоныча спросили: в чем, собственно, заключается «держание уха востро», он бы вряд ли сумел вразумительно ответить. Беспокоила его добросовестность, с какою работали, докапываясь до истины, геологи. А они буквально докапывались...

В одних местах рыли шурфы, в других — бурили. В обоих случаях брали на пробу грунт. Из шурфа — цельные слоистые куски, именуемые монолитами. Монолиты макали в жидкий парафин, чтобы сохранить первоначальные свойства грунта. Добытый из буровых скважин размельченный грунт засыпали в герметически закрывающиеся сосуды. Называлась такая проба — бюкс. Монолиты и бюкс отправляли в лабораторию на анализ.

Мирон Платоныч поглядывал на эти монолиты и бюксы с уважением и опаской. Подумать только, судьба Черного поля зависит от каких-то комочков земли. И земля-то бросовая — глина да песок. Хотя, конечно, бросовая она для хлебороба, а для строителя, может, самая подходящая. Хорошо, кабы так. А если нет? Узнай-ка, где он, хороший-то грунт. Копают ведь наудачу. Здесь копнул — никудышный грунт, а метр вправо или влево — самое то, что надо. А лаборатория, она нешто на это смотрит? Дали ей негодный грунт, она и строчит: завод, мол, на этом месте строить нельзя. У них там заботы об Черном поле нету. Вот и получается: хочешь не хочешь, а в геологию эту надо самому вникнуть. Но как именно «вникнуть» — не представлял себе Мирон Платоныч. Поговорить как-нибудь осторожно со Старцевым, что ли? Ты, мол, мил друг, бери пробы-то где получше, чай, глаз-то наметан, да сам сперва разберись, надо ль посылать на анализ-то... А уж за мной не пропадет. Поговорить. А как поговорить? На посмешище себя выставлять охоты нету. Э, да, может, в гости пригласить их к себе? А не захотят, можно и у них на квартире. Выпьют, закусят, тут со Старцевым и потолковать. После угощения человек всегда добрее и мягче становится. Это надо будет обмозговать.

А завод что же... Завод — дело хорошее. И теперь Мирон Платоныч ничуть не против завода. Потому что колхозу от него и вправду большая подмога будет. Вот встретится Мирон Платоныч с начальником строительст-

ва и попросит выкорчевать пни на Заказе, а колхоз работу оплатит. А может, и платить не надо — им так и так корчевать. Таборцам этих пней да корней на всю зиму топиться хватит. До революции местный помещик нанимал людей рубить лес, а расплачивался сучьями, верхушками да правом на корчевание пней. Работа была хребтоломная, да ведь не зря говорят: нужда калачом кормит. Есть такая побасенка, Мирон Платоныч ее еще от бабки слышал. Поехал мужик в город на базар, да возьми и потеряй хлеб, что захватил на пропитание. Оголодал — сил нет, а на базаре ржаного хлеба не продают, все калачами торгуют. Пришлось на последний алтын калач купить, съел — и не почувствовал, вроде даже еще больше голод донимает. Домой-то явился чуть жив. Вот так же и та корчевка. Не знаешь, бывало, что лучше: совсем ли без дров зиму сидеть или таким великим трудом раздобыть их. К тому же в ту пору у Агафоновых лошади не было, не на чем было и заработанные-то дрова привезти. А тут — дрова рядом и привезти, слава богу, есть на чем. А то вон Яснов все норовит упрекнуть: «О народе, мол, не радеешь». И Фомин в прошлый раз дудит в ту же дудку. А уж он ли, Агафонов, не радеет? Собственную дочь вон на свиноферму послал, с утра до ночи девка косточки молодые ломает...

До Заказа Мирона Платоныча подвез на грузовике Енчиков — по пути было. Геологи и рабочие кучкой сидели около только что вырытого шурфа, отдыхали. Мирон Платоныч уже готов был про себя осудить их за леность, но тут увидел ряд свежих шурфов, которых еще вчера не было, и сменил гнев на милость. Видно, и вправду устали — лица потные, на рубашках темные влажные пятна. Тут же находился и Старцев.

— Здорово живете! — отвесил общий поклон Агафонов.— Скоро ли закончите? Боюсь, Черное-те поле пересохнет...

— Не вы одни нас торопите, Мирон Платоныч,—улыбнулся Старцев,— управление — тоже. Сегодня к вечеру все пометим на карте, эту партию грунта отправляем на анализ. Завтра к полудню придет машина, заберет.

— Так, так,— неопределенно сказал Мирон Платоныч и, сняв фуражку, почесал лысину. Потом присел рядом со Старцевым на глиняный отвал, попросил у него папиросу и закурил. Вообще-то он куревом не баловался, но когда сидишь вот так рядом с людьми, да еще предстоит

щекотливый разговор, то цигарка помогает — с нею вроде бы и делом занят.

— Значит, говорите, завтра машина заберет? — совсем ненужно переспросил Мирон Платоныч, маясь от того, что предстоит сказать.— Тогда нам... надо бы отметить первые трудовые успехи-то,— бухнул он, как в омут прыгнул, и противно улыбнулся — это у него возникло такое чувство, что улыбнулся противно.

Он поймал на себе удивленный взгляд Старцева, и охваченное будто огнем лицо обильно вспотело. «Чтоб пусто им было, вашим монолитам и бюксам,— выругался он про себя.—Сколько сраму из-за них терплю — кому сказать...»

— О! Вот золотое слово! И, главное,— вовремя сказанное! — шлепнул себя по тощим ляжкам черный, как грач, рабочий, сидевший напротив Агафонова по другую сторону шурфа; большим горбатым носом он и впрямь напоминал грача. Рабочий кинул окурок в шурф, потирая руки и маслено улыбаясь, встал: — Работать люблю, а трудовые успехи отмечать — вдесятеро.

— Ну, мы, думается, еще не наработали столько, чтобы отмечать успехи,— без улыбки сказал Старцев. Мирон Платоныч сидел, втянув голову в плечи, пряча лицо, вертел между пальцев папиросу, потухшую после двух затяжек. Старцев повернулся к нему: — Вижу, беспокоитесь, Мирон Платоныч. Не стоит. Грунт, по-моему, подходящий, анализ должен быть положительным.

Мирон Платоныч ожил. От радости схватил геолога за плечи, тряхнул.

— Спасибо, мил друг, спасибо! Я ведь... о, господи!..— махнул рукой, поднялся.— Ну, пойду, товарищи, до свидания.

Пробираясь к дороге, лавируя между пней и шурфов, сокрушался: «Поделом тебе, старый шайтан, поделом... Что вздумал: выпивки устраивать, подкупы... Сорок с лишним лет в партии состоишь, никогда никому не врал, не изворачивался — откуда же в тебе такая дурость-то появилась?.. Нет бы прямо спросить человека, сомнения высказать, нешто он тебе враг? Он, как и ты,— коммунист, ему, поди, тоже Черное-то поле дорого...»

До самого села грыз себя Мирон Платоныч. И пришел к грустному выводу: «Старею. Хорошо, коли одному мне это заметно, а если и другим? Тогда одна дорога — в отставку...»

Горькие мысли эти занимали его только до тех пор, пока не переступил порог правления. Тут сразу навалились дела. Через час вышел,— у крыльца дожидался привязанный к столбу Чемберлен, жующий овес в торбе. Якку Урнекеев отвез в больницу мать и вернулся; теперь, должно быть, пошел в Заказ на работу.

Время было за полдень. Мирон Платоныч подумал, не заехать ли домой пообедать, но сообразил, что, пожалуй, рано. Лучше он слетает на строительство моста через Свиягу, а когда вернется, пообедает.

За полчаса добрался до места. Сделав необходимые распоряжения, повернул было домой, но передумал, решил заехать на дальние поля. Дорога бежала вдоль реки, отделенная от нее зарослями ивняка. Место низкое, сырое, когда-то болото было.

На поляне среди ивняка увидел Агафонов два грузовика. Какие-то люди, издали не разглядеть кто, кидали лопатами в кузова торфяной перегной. «Наши, наверное, из огородной бригады»,— подумал Мирон Платоныч. Но, проехав еще немного, за машинами заметил трактор с огромным, тонн на пятнадцать, прицепом. В Таборе таких прицепов не было. Свернул с дороги, привязал Чемберлена к иве, поспешил на поляну.

Люди были из Ольхового Озера; Мирон Платоныч, подойдя поближе, узнал тамошнего бригадира. Умники! Ну и умники!

Здешний рассыпчатый торф нашел и рекомендовал как удобрение Яснов. Было это давно, в первые годы после войны. Поверил Мирон Платоныч Яснову, начали удобрять торфом поля — с той поры и полезла круто вверх урожайность зерновых в Таборе.

Обе машины были уже полны. Теперь своими широкими совковыми лопатами — каждая емкостью по ведру— ольховозерцы споро загружали мягкой темно-коричневой землею тракторный прицеп.

У Мирона Платоныча сердце кровью облилось. Такую землю из-под носа умыкают! Ведь это не земля, а чистое золото; да куда золоту... хлеб это. Пшеница, рожь, просо!..

Агафонов, запыхавшись, ворвался на поляну.

— Эй, мил друзья! Это кто же вам разрешил? А ну, кончайте разбой!

Ольховозерцы опустили лопаты, переглянулись. Их бригадир шагнул навстречу Мирону Платонычу:

— А, товарищ Агафонов! Здравствуйте!

— Ты мне зубы на заговаривай, не заговаривай! — Мирон Платоныч по-петушиному задиристо откинул назад голову.— Ишь ты... «Здравствуйте»... Поздравствуешь с вами, чертями, как же! Увидели — плохо лежит... Сгружай!

Правой рукою Мирон Платоныч, будто шашкой, сплеча, решительно рассек воздух. На ольховозерского бригадира этот его жест не произвел впечатления.

— Что же получается? — насмешливо щурясь, задал он риторический вопрос.— Частная собственность на землю? Или, может, вы сами этот торф создали... химическим путем? Нет, природа его создала. Стало быть, и говорить нам с вами не о чем. Опять же мы выполняем распоряжение нашего председателя товарища Стрельцова. С ним решайте. А торф нам нужен для колхозного огорода.

— А нам не нужен?

— Нужен, так копайте.

Мирон Платоныч не знал, что и возразить бригадиру. Ишь, насобачился, шельма: «частная собственность», «химическим путем»... Табору бы тут, глядишь, лет на десять еще удобрений хватило. Теперь, конечно, растащат...

Конечно, можно бы сейчас слетать за народом. В два счета бы этих разбойников завернули и торф отобрали бы. Но поступить так что-то мешало. Не лежала душа. Уж очень такое противоборство напоминало межевой спор старых времен. Не годится. Бригадир правду сказал: торф-то — дар природы.

Мирон Платоныч все стоял на месте, исподлобья наблюдая, как на глазах вырастал над бортами прицепа коричневый холм. Быстро работали ольховозерцы.

Жаль, ох жаль было добра... Загребущие же руки у этого Стрельцова. С прежним ольховозерским председателем Башмаковым Мирон Платоныч жил душа в душу. Часто обменивались тем-сем на основе взаимной выгоды. А со Стрельцовым компании не водил. Проезжая через Ольховое Озеро, в правление, как бывало, не заглядывал. Не нравился Стрельцов Мирону Платонычу. Уж больно верткий да тертый. И похвастаться любит. Не было за последний год совещания в районе, чтобы он не вылез на трибуну и не закатил речь. Конечно, не нам, земляным червякам, чета... Заочно окончил сельскохозяйственный

институт. Ведь это небось его слова бригадир-то повторяет. Насчет частной собственности и прочего.

Ольховозерцы закончили погрузку. Заработали моторы. Бригадир сел в кабину передней машины, поддразнивая, крикнул Мирону Платонычу:

— Спасибо за торф! Летом приезжайте, угостим нежинскими огурчиками!

Мирон Платоныч повернулся и пошел к лошади. Выехав на дорогу, вдруг натянул вожжи. Чемберлен остановился, оглянулся на хозяина: ну что чудишь? Ехать так ехать, стоять так стоять.

— То-то, мил друг, не отвертишься,— улыбаясь в усы, бормотал Мирон Платоныч.— Думал с носом Агафонова оставить? Ну нет, не на того напал...

Осенившая его идея была проста, как все гениальное. Не раз проезжая в район через Ольховое Озеро, он видел на хозяйственном дворе кучу дубовых бревен, приготовленных на столбы под электропередачу. Стрельцов, как человек запасливый, привез их в прошлом году, хотя прежние столбы еще были целехоньки и могли простоять еще две пятилетки. Ну, а таборцам столбы понадобятся, может, уже в текущем году.

Мирон Платоныч укажет на эти бесполезно лежащие запасы Фомину, а со Стрельцовым разговор будет короткий: лесное дерево, как и торф,— дар природы, а не частная собственность.

Успокоив себя таким заключением, Мирон Платоныч шевельнул вожжами, и Чемберлен послушно затрусил по дороге.

Пообедать Мирону Платонычу так и не удалось. Домой он пришел около полуночи. Дочери дома не оказалось, и мать не знала, где она и когда вышла. Пошумел. Вроде есть хотел, собрался поужинать, а тут и последнего аппетита лишился. Все же сел за стол. А что делать? Спать ложиться — нет смысла: не заснешь.

Наконец послышались шаги на крыльце. Глянул в окно поверх занавески: у калитки смутно рисовалась черная тень. Видно, что парень, а кто — не разобрать. Вот еще заботушка... С кем же ее носит? Ладно, как Якку Урнекеев,— тот парень смирный, честный. А ежели ухарь этот, Линьков? Балованный, видать...

Стукнула щеколда в сенях. Мирон Платоныч поднял-

ся из-за стола, насупился, готовясь учинить дочери разнос. Марись, румяная, оживленная, вбежала на кухню. Должно быть, не заметив грозного вида отца, она ткнулась лицом ему в щеку.

— Ты уже дома? Как же мы с Якку не заметили тебя?

Мирон Платоныч крякнул, и опять, как нынче утром, на ферме, когда Марись заступилась за него, прилила к глазам теплая волна. И вместо того чтобы высказать заранее приготовленные строгие слова, погладил дочь по волосам.

Где-то третьим планом прошла, не задержавшись, мысль: «Старею...»

Глава восьмая

Микита Катков и Новый Прухха были одногодками. В армию ушли вместе, служили в одном полку, в одной роте, даже в одном взводе. Только в разных отделениях. Последнее обстоятельство представлялось Пруххе большой удачей. Катков получил звание младшего сержанта и стал командиром отделения, а Емеськин остался рядовым. Зазорно было бы подчиняться земляку, да еще и одногодку.

На «гражданке» этой участи Прухха все же не избежал. Катков водил трактор, исполнял должность помощника бригадира тракторной бригады, а Прухху назначили к нему прицепщиком.

И жизнь у них сложилась по-разному. У Каткова шла она как-то легко и ровно, будто поезд по рельсам. А у Пруххи моталась вверх-вниз, вправо-влево, словно колымага на разбитом осенней распутицей проселке. Женились оба в один год. Микита весною, на Первое мая, Прухха — в канун Октябрьского праздника. У Микиты через пять лет уже бегали по избе двое ребятишек, Прухха оставался бездетным. Микита считался одним из лучших механизаторов района, прошлой осенью о нем была большая статья в газете, с портретом; другой портрет висит в городе на доске Почета, что возле театра, рядом с портретом Санькки. А Прухху в колхозе в грош не ставили, откровенно посмеивались над ним. Да еще как обидно посмеивались-то. Санькка состояла бригадиром комплексной бригады, а Прухха — рядовым прицепщи-

ком. Злые языки утверждали, что она вздохнуть ему не дает: командует им и на работе и дома.

Вообще Прухха считал, что все дело в везении. К Миките Каткову шла удача, а к нему, к Пруххе, не шла. Что он, глупей Микиты? Да никогда! Или работать не умеет? Ого! Взгляните, ежели охота, как он крышу своей избы перекрыл, какой забор отгрохал, какие сараи... Любо-дорого посмотреть. А вот не везет — и все тут. Взять хотя бы ту же армию. Как стали солдатами, Миките Каткову месяца через три вышла благодарность в приказе, а Пруххе — пять суток гауптвахты. Год спустя Микита получил младшего сержанта, а Прухха был разжалован из ефрейтора в рядовые. С той поры отвешивает ему жизнь и с правой и с левой.

Зимой в Ундоровский лес за дровами двинул — лошадь ногу сломала, пришлось колхозу возместить ущерб. Послал колхоз на Сандюковскую мельницу пшеницу смолоть — полтора центнера муки пропало...

Не везет — и точка. Вот ведь какие удивительные происшествия случаются на белом свете!

Собственно, если разобраться, то удивительных, необъяснимых происшествий в жизни Пруххи, так же как и в жизни Микиты Каткова, не было. Все шло своим естественным порядком. Благодарность Катков получил за то, что во время пожара вытащил из огня пострадавшего товарища. Прухха сел на гауптвахту за то, что украл у товарища присланную из дома продуктовую посылку. Командиром отделения Катков стал потому, что отлично нес службу, был человеком широкой, щедрой души, последним делился с товарищами, пользовался среди них авторитетом. Прухха заснул на посту так, что проверяющий сумел унести его автомат,— за это лишился ефрейторских лычек. Да и потом не везло Пруххе вовсе не потому, что судьба такая уж вздорная гражданка,— никакими резонами ее не вразумишь. Там, где дело касалось своего личного, вопрос о невезении не вставал. И дом Прухха купил удачно — дешево, и переделал его умело, на совесть, и заборы, сараи отгрохал — вправду любо-дорого посмотреть.

Невезение начиналось тогда, когда приходилось Пруххе выступать блюстителем общественных интересов. Ибо фразу «Человек, чтобы получать от общества, должен ему что-то давать» Прухха для себя переводил так: «ломить на дядю».

Позаботиться о колхозной лошади, не гнать ее дурным манером по колдобинам напролом — ломить на дядю.

Проследить за помолом колхозного зерна, проверить мешки, укладку — ломить на дядю.

Правда, исключение составил случай с картошкой. Тут уж Пруххе, как говорят спортивные комментаторы, не повезло на своем поле. Но это, по-видимому, следует считать тем самым исключением, без которого не бывает правила.

Может показаться странным, что многие факты своей биографии Прухха объяснял невезением, случайностью, тогда как в них совершенно ясно проглядывалась закономерность. Собственно, может быть, он ее и видел, закономерность. И даже наверняка — видел. Но это видение вряд ли что-нибудь могло изменить в его судьбе. Изменить судьбу — значит, изменить характер. А такое не всегда удавалось людям и куда более сильным, чем Прухха.

Обрабатывали культиваторами поле под просо. Прухха удобно устроился на сиденье, сделанном из соломы на раме культиватора. Пригревало солнце. Ровно гудел хорошо отрегулированный мотор трактора. Бежала и бежала под Пруххой земля, казалось, что она разлинована, как ученическая тетрадь. И бег этот, и гул трактора, и солнечное тепло, и крепкий запах земляной свежести нагоняли на Прухху дремоту. Устал он думать о Санькке, устал искать причины разлада с нею... Да и не было никаких причин. Ну, просто не было. Жили не тужили — и на тебе... Одно слово — не везет.

— Давай, годо́к, почистим! Чего задумался?

Слова эти, пробившиеся сквозь ослабевший рокот мотора, не сразу дошли до сознания Пруххи — он и впрямь задремал:

— А? Что?

Прухха встряхнулся и увидел подошедшего Микиту Каткова. Трактор стоял, мотор работал на малых оборотах.

— Почистить бы надо,— повторил Микита и показал на лапки культиватора, забитые прошлогодней стерней.

— Почистим,— сказал Прухха.

— Не засни смотри, а то свалишься,—улыбнулся Микита.— На таком солнце заснуть — дело простое.

— Не бойсь, не засну.

Хотя и завидовал Прухха одногодку, но про себя знал: Микита — человек славный. Ему даже думалось, что лучше Микиты Каткова он людей не встречал. И если

бы от Пруххи зависело выбрать себе друга, он выбрал бы Микиту — надежный был бы друг. Сколько уж лет прошло, а до сей поры никто в селе не знал о неприятностях, которые случались с Пруххой в армии. Ни про воровство, ни про разжалование. Себе Прухха вынужден был признаться, что на месте Каткова и дня бы не вытерпел, чтобы не разболтать о позоре ближнего. Сам не понимал, почему оно так: чужой грех, чужой проступок или неудача доставляли ему облегчение и даже тайную радость. Пожалуй, одному только Миките Каткову, при всей своей зависти, не желал Прухха зла.

Сейчас, впрочем, было ему только до себя. Собственная грудь представлялась сплошною раной — вот как Санькка разбередила сердце. Прямо хоть головой об угол.

Прухха потянулся за лопатой, что торчала зажатая между пружинами. И в этот момент увидел Санькку. Она быстро шла полем, со стороны шоссе, к их агрегату. Видно, хочет узнать, управятся ли до вечера. Прухху кинуло в жар. Самым непереносимым было поймать на себе ее равнодушный, как бывает, когда смотрят на голую стену, взгляд. Подумал: «Встать на раму, провалиться, будто нечаянно, ушибить ногу об железку...» Раненого, немощного она пожалеет,— это Прухха знал точно.

Маневр не удался — уж очень был Прухха взволнован. Вместо того чтобы намеренно провалиться в пространство между тягами рамы и поставить на ногу синяк, он, неловко переступив, задом спрыгнул на пахоту. Боль пронзила правую ногу в голеностопном суставе, он вскрикнул, упал на бок, лопата отлетела в сторону.

Подбежал Катков:

— Ты что? Убился?

— Бо-ольно,— сморщившись, пролепетал Прухха.

Микита приподнял его под мышки, Прухха попробовал ступить на подвернувшуюся ногу и не смог.

— Видать, свихнул,— простонал он,— а может, сломал.

— Полно тебе — «сломал», на мягкой пахоте не сломаешь,— утешил Микита и опустил Прухху на землю.

— Что у вас тут?

Санькка остановилась перед Пруххой, а вопрос ее был обращен к Каткову.

— С ногой что-то... в медпункт бы надо. Свихнул, наверное.

И тогда взор Санькки обратился на Прухху. Но не

увидел он в ее глазах тревоги, не уловил сочувственной мягкости в выражении лица. И голос ее прозвучал так, будто он, Прухха, виноват в случившемся, а не вечное его невезение.

— Как же это у тебя ума хватило учудить такое? — сказала Санькка.— Люди из космоса приземляются — ноги-руки у них целехоньки, а этот...

— С человеком несчастный случай, а ты смеешься,— обиженно возразил Прухха.

— У тебя вечно несчастные случаи.

Пруххе хотелось закричать, что все это из-за нее, потому что, если бы она не путалась с Ясновым и не смотрела бы на мужа как на пустое место, ему бы в голову не пришло стараться вызвать к себе ее жалость, и тогда бы он не подвернул таким дурацким манером ногу. Но Прухха промолчал.

— Вишь, и тебе удача выпала,— сказала Санькка и помахала кому-то рукою.

Прухха оглянулся: к будке трактористов подъехал возчик воды. Его, видно, и звала Санькка. Действительно, подвода с бочкой вскоре была около трактора. Втроем с возчиком кое-как сняли с телеги полную бочку, а на ее место усадили Прухху.

— А ну, давай ногу,—сказала Санькка и осторожно стянула правый сапог. Затем уложила босую ногу на солому, и Пруххе показалось, что боль пропала. Санькка махнула рукой:

— Трогай, Федор!

И отвернулась, будто не мужа ее увозил Федор, а ту же бочку с водою.

Горечь обиды была так сильна, что слезы выступили на глазах у Пруххи. На мгновение даже появилось отчаянное желание разметать солому, спрыгнуть с телеги — будь что будет, пусть дикая боль, только бы не этот саднящий надрыв в сердце.

Телега неторопливо двигалась к шоссе, Санькка постепенно удалялась, и Прухха испытывал такое чувство, что он лишился сейчас самого дорогого и самого нужного ему в жизни.

На въезде в село нагнали старика Купцова. Он едва тащился, сгибаясь под тяжестью корявого, с торчащими обрубками корней, пня.

— Уф, слава богу! Вот тоже получилось! — обрадовался Купцов, свалив свою ношу на задок телеги так,

что Прухха едва успел убрать больную ногу. Сам уселся сбоку, словоохотливо поделился своими заботами: — Возле каланчи бесполезно эти пни валяются. Два их там. Пойдет, думаю, на топку. Коли распилить пополам — расколется. Кабы знал, что вас встречу, и второй бы прихватил.

Купцов был весь мокрый от пота, возбужденно-радостный, говорил прерывисто — дыхания не хватало.

В душе Пруххи начала закипать глухая злоба. Тут жена уходит, вся жизнь рушится, а этот гад со своими пнями... Да еще по ноге чуть не грохнул. А что ему чужая нога? Ему сворованный пенек дороже. Даже не поинтересовался, что, мол, у тебя с ногой, знай — про пеньки... А мешки? Спер и молчит, будто так и надо. Ах, гад!

— Останови! — Прухха ткнул возчика в спину.

Голос его прозвучал неожиданно для самого Пруххи громко, решительно и угрожающе.

Лошадь стала. Преодолевая боль, Прухха изловчился и сильным толчком сбросил пень с телеги.

— Поехали!

Скрипнули колеса. Купцов некоторое время оторопело смотрел на Прухху. Лицо его, и всегда-то не бледное, приняло теперь свекольный цвет.

— Ты что?.. ты что?..— забормотал он.— Ишь, вознесси... Не больно-то... еще должок за тобой...

Купцов соскочил с телеги и побежал к валявшемуся на обочине пню.

Возчик дурашливо, во всю глотку, заржал. Так и не унимался до самого медпункта.

— Экая досада,— сдвинув на лоб кепку и почесав затылок, сказал Микита Катков, когда подвода с Пруххой отъехала.— И осталось-то не больше трех прогонов... Как же быть, бригадир?

Санькка подошла к культиватору и уселась на соломенное сиденье:

— Трогай!

Микита расцвел, побежал к кабине, на ходу весело крикнул:

— Даешь ударный труд!

...Бежала разграфленная на строчки земля, ровно рокотал мотор. И мысли Санькки бежали ровно, чередою. Вспоминала она прошлое, все пытаясь понять, почему совершила такую ошибку...

А началась все с того, что мать взялась нахваливать Прохора Емеськина. Уши она им прожужжала: «Парень хозяйственный, дом отделал — мастеру впору, свинью, козу держит, огород развел,— даром что холостой. За таким мужем не пропадешь, ничего, окромя добра, от него не увидишь». Мать можно было понять. Отец Санькки любил выпить, а выпив — пошуметь; в молодые годы и по женской части имел грехи. Новый Прухха, на взгляд матери, ничем не напоминал Саньккиного отца и, значит, мог стать хорошим мужем.

Познакомилась Санькка с Прууххой у своей подруги Тамары — учительницы таборской школы Тамары Ивановны. Парень доводился ей каким-то дальным родственником, и она пригласила его на свой день рождения.

Гости собрались в маленькой комнатушке при школе, где жила тогда Тамара. Были ее подруги, молодые учительницы, а из мужчин только двое: учитель, теперешний муж Тамары, да Емеськин.

Посидели за столом, потом пели песни, танцевали. Больше всех веселился учитель, Тамарин жених. Читал смешные стихи, пел студенческие песни, играл на гитаре, показывал фокусы, забавно разыгрывал гостей — словом, был душою общества. Прухха же держался тише воды ниже травы. Пил. Закусывал. И молча улыбался. Ну что узнаешь о человеке, коли он никак не проявляет себя? Только то, что скромный. Скромность в людях Санькке нравилась. Теперь вспоминая ту вечеринку, она никак не могла понять, почему Прухха показался ей скромным. Только потому, что молчал? Но Тамарин жених весь вечер рта не закрывал, находился в центре внимания, а Санькке и в голову бы не пришло назвать его нескромным.

С вечеринки Санькка и Прухха ушли вместе. Как-то так уж получилось. Когда проходили мимо его дома, Санькке, еще возбужденной выпитым вином, шумом, танцами, захотелось зайти посмотреть, как он живет. О том, что нехорошо заходить среди ночи к одинокому парню, она тогда и не подумала.

Зашли, посидели, поговорили.

— И не скучно тебе одному? — спросила Санькка.

— Скучновато... А что делать?

Санькка только рассмеялась и ничего не ответила. А так и вертелось на языке: женись, дурень!

Прухха проводил ее до дому и, прощаясь, со значением пожал руку.

Они начали встречаться чуть ли не ежедневно. Хотя Санькку обхаживали и другие парни, она благоволила к Пруххе. Может быть, потому, что его неустанно нахваливала мать. И потом, ей нравилась его открытость, распахнутость перед нею...

А через месяц после свадьбы он с открытой — душа нараспашку—радостью рассказывал Санькке, вернувшись со станции с возом угля, что сумел нагрузить и увезти этот уголь из-под носа у сторожа; теперь топлива хватит на зиму. В тот день они поссорились впервые. Санькку, активную комсомолку, честную работницу, испугало то, с какою легкостью муж произвел ее в ранг сообщницы. Получилось, что если она жена вора, то и сама должна быть воровкой. Для Пруххи это, видно, разумелось само собою. Для нее это представлялось дичью несусветной. Пробовала она урезонивать мужа, воспитывать. И словами, а иной раз — и действием. На какое-то время помогало...

Потом, когда Санькка стала бригадиром, членом правления, коммунисткой, появилась новая причина для ссор. Ей приходилось часто допоздна просиживать на нарядах, на заседаниях правления, на партийных собраниях. А зимой еще и на занятиях агрокружка и кружка по изучению истории партии. И вот Прухха начал ревновать. Следить за женой. Стоило ей выйти из правления с кем-нибудь из мужчин, продолжая по дороге обсуждать вопрос, о котором только что говорилось,— Прухха уже поспевает рядом, сопит так, что любому ясно, зачем он тут. Стыд.

Пожалуй, только первый месяц и пожили они в согласии, так, как полагается жить мужу с женой. А потом ссора за ссорой,—и открылась Санькке вся ничтожность ее супруга, и перестал он быть ее супругом. А в прошлом году сблизилась она с Макаром, полюбила...

Трактор дошел до конца поля, начал поворачивать. Санькка соскочила с рамы.

Засеянные поля, что раскинулись по обеим сторонам дороги, были черны, как сажа. Яснов шел не торопясь и думал свои агрономские думы. Поскорее бы закончить сев а там бы — теплого дождя. И поля зазеленеют друж-

ными всходами. Вот уж когда любо-дорого на них посмотреть. Вначале бледно-зеленые, с розовинкой, вроде только что вылупившихся птенцов. Потом зелень начинает темнеть день ото дня, набираться бархатистой густоты. А там отцветет и пойдет желтеть... Что в начале лета, что в конце — красивы бывают хлебные поля. А в Таборе особенно. Потому что поля здесь ровные, как чугунная сковорода, и такие же черные. Земля рассыпчатая, мягкая да легкая, что пена. Увяжется за тобой какая-нибудь лаючая собачонка, комка не найдешь, чтобы отбиться.

Правда, навозу маловато вкладывается. Да где ж его взять, коли скота мало? И то уж навоз по дворам собирают. А для людей это ущерб — кизяка на топливо лишаются. Хорошо такое вершить в Ста Родниках или Ольховом Озере, где с осени покупают торф в брикетах на весь колхоз. А в Таборе пока каждый сам заботится о топливе на зиму.

«Все одно к одному, цепляется друг за дружку,— размышлял Яснов.— Без скота и земля отощает и хлеба не будет...»

Сверху сыпались голосистые трели жаворонка. Яснов остановился, снял фуражку, задрал голову.

Нет, не видать. Зашагал дальше. Вспомнилось, как нынче с утра ходили с Мироном Платонычем по полевым бригадам. И опять, как это часто случалось в последнее время, почувствовал жалость к председателю. Стареет, явно стареет Платоныч. И раньше он не был уступчивым, а теперь нередко проглядывало в нем стариковское нерассуждающее упрямство. Возражения, пусть даже дельные, сердят его, может на возражающего и накричать. Многие уж и не обращаются к нему. На все его наставления с вежливой улыбочкой: «Есть, будет сделано, Мирон Платоныч», а делают так, как сами находят нужным, либо советуются с Ясновым. Авторитет старика падает. Как остановить падение? Люди не слепые. Как ни старайся иной раз поддержать председателя, от их глаз ничего не скроешь.

Жаль Платоныча. Много сделал для колхоза, для того, чтобы родила обильно земля эта. Председателем стал в трудный послевоенный год. Хлебнул всякого. Не зря от быстрой ходьбы за сердце хватается, поминутно лоб и лысую макушку платком вытирает. Поработал человек на земле.

Яснов прошел через лесную полосу, вдыхая во всю грудь горьковатый запах молодой листвы. За лесополосой открылся Заказ. В ближнем конце его лежали штабеля красного кирпича и серых железобетонных плит. Еще несколько дней назад там было пусто. Чуть в стороне стоял сколоченный из досок сарай — склад или прорабская.

Около железной дороги сновали два бульдозера,— в определенные минуты моторы их вдруг начинали надсадно реветь. Чуть подальше около остова подъемного крана хлопотали монтажники — крепили стрелу. Там же — тесовый навес. Наверное, электростанция. Потому что от навеса по тонким временным столбикам в разные стороны тянулись провода. «Оживленно стало у нас»,— подумал Яснов, не зная еще, радоваться по этому поводу или скорбеть. Бульдозеры, он знал, ровняют участок, откуда пойдет ветка к будущему сахарному заводу. Рядом со старым полотном уже лежали штабеля свежепропитанных черных шпал. Скоро загудят электровозы, застучат колеса, и жаворонка здесь уже не услышишь. И все-таки... и все-таки: даешь завод! Потому что завод — это культура. И не только материальная, но и духовная.

Прямиком через Заказ Яснов направился к железнодорожному полотну. Хотел по линии добраться до шоссе, а там взглянуть на поле, которое Микита Катков культивирует под просо.

— ...рыч! Постой-ка!

Яснов оглянулся — его догонял Якку. Видно, крикнул: Макарыч! На нем был ватник, запорошенный мелкой стружкой и опилками.

— Ну, здорово, рабочий класс,— усмехнулся Яснов.

— Пока еще не рабочий, а разнорабочий,— уточнил Якку.— Кирпич укладываю, помогаю автокрановщику. Сейчас вот дверь в прорабской навешивал. Дел хватает. Когда начнется стройка, обещали поставить учеником каменщика. А можно — плотника.

— В колхозе тоже нужны каменщики и плотники. Мы, пожалуй, вот что сделаем: как начнется стройка, пошлем на учебу кое-кого из молодежи.

— Правильно! — с энтузиазмом подхватил Якку.— И девушек обязательно надо. А то в колхозе у них одна дорога: в доярки...

— И в свинарки?—хитровато сощурив глаз, взглянул Яснов на племянника.— Так? — Он рассмеялся и

погрозил Якку пальцем: — Ну, нет, брат, со свинофермы никого, слышишь — никого, я на стройку не дам.

— Ты, конечно, рад, что люди там безотказно до полуночи работают... Я вот уже кончил... Сколько сейчас? Шесть? — Якку посмотрел на солнце.— Ну да, седьмой... А я домой шагаю. А на ферме еще и не думают шабашить.

— Ничего, ничего... Механизируем ферму, еще позавидуешь своей Марись. Ведь об этой, конкретно, свинарке ты проявляешь заботу?

Якку отвернулся,— просто беда, до чего легко он краснеет...

Когда подошли к просяному полю, агрегат только что развернулся. Посередине поля была узенькая полоска — Каткову осталось сделать один круг, и закончит. Яснов помахал прицепщику: крикни, мол, трактористу, чтобы остановился. Но прицепщик сидел, будто не видел агронома. Кто это там? Вот бестолочь. Придется подождать, когда Катков сделает круг. Надо договориться, чтобы завтра начинал сев проса.

Прицепщик, сидевший на культиваторе, поднял голову, и Яснов узнал Санькку. «Понятно, почему она не остановила Каткова. Не хочет встречаться со мною»,— подумал Макар Макарыч и бросил на Якку быстрый взгляд: узнал, кто на культиваторе, или нет?

После того, как Санькка в прошлый раз ушла рассерженная, они виделись раза три-четыре в правлении да у семенного склада. И всегда на людях. А ему надо с нею поговорить. К чему эта ненужная ссора? Переходила бы уж к нему, и дело с концом...

— Давай ближе к дому,— вздохнув, сказал Яснов, и они с Якку зашагали в сторону села.

...А Санькка долго смотрела им вслед. До тех пор, пока не поднялись на холм и не скрылись за ним. Когда же село солнце, пропал из виду и сам холм — слился с Лысой горой. И сердце что-то заныло у Санькки. Так бы бросила все и побежала вслед за Макаром. Может, у него в тот раз так нечаянно вырвалось про ребеночка-то? Мужики, они ведь когда дело деликатных чувств касается,— все с придурью. Что уже сердиться-то? Одно знает она: нет ей без Макара ни счастья, ни жизни.

Глава девятая

Фельдшерица определила у Пруххи растяжение связок, велела держать ногу в тепле и покое. Возчик Федор доставил его до дому, помог взойти в избу, усадил на диван. Нога у Пруххи раздулась, стала что рукав шубы, щиколоток совсем не видно. И главное — болела.

Прухха велел возчику подставить под ногу стул и упрекнул себя за то, что давеча, проезжая мимо дома Тимэра Сармаско́го, не удосужился заглянуть к нему. С фронта Тимэр вернулся на костылях. Давным-давно он работал плотником, ходил нормально, разве что чуть-чуть прихрамывал, но костыли ему теперь, конечно, ни к чему.

— Сходи, будь другом, к Тимэру,— обратился Прухха к возчику,— попроси костыли. Скажи — на время. Самого нет — у жены попроси.

— Ладно,— сказал Федор,— труд не велик.

И отправился за костылями.

Тимэр считался на селе человеком бывалым. Лет за пять до войны попал он в город Горький, поступил на завод «Красное Сормово». Когда приехал в село на побывку, соседка Сыбани, мать Кузьмы Енчикова, поинтересовалась у него, где живет, что делает. «Я теперь сормовский рабочий»,— ответил Тимэр. Сыбани, приспособив чужое незнакомое слово к своему языку, разнесла по селу, что Тимэр теперь «сармаско́й». Так это прозвище к нему и прилипло.

По сей день Тимэр с охотой и удовольствием вспоминал свою жизнь в Сормове. А выпив, не упускал случая поддразнить жену: «Жизнь была — лучше не надо. Со стола не сходил белый калач, с ног — хромовые сапоги. А уж про девок и говорить нечего. Вешались на шею одна за другой, словно бы, скажи, ополоумели вовсе. Снятся, бывает».

И, подогретый воспоминаниями, затягивал:

День и ночь шумит-грохочет
Сормовско́й большой завод.
Там работает парнишка,
Ему двадцать первый год...

Песня умиляла Тимэра тем, что была будто про него сложена: ведь когда он стал сормовским рабочим, шел ему как раз двадцать первый год...

Вскоре Федор вернулся.

— Сармаского дома нет, а насчет костылей тетка Мархва сказала, что сжег их Тимэр. Как стали они ему не нужны, так и побросал в печь, чтоб, значит, про войну не вспоминать.

Федор ушел, и его телега затарахтела по улице.

А Прухха все возмущался безрассудным, по его мнению, поступком Тимэра Сармаского. Ну не глупо ли? Лишил вот его, Прухху, костылей. Сейчас бы с костылями-то можно было бы и во двор и на улицу. Пусть смотрят,— травма на производстве. Человек на костылях — шутка ли... А так что? Сиди на диване. Один.

Разве войну забудешь оттого, что костыли сжег? Вон Прухха и не воевал, а навек запомнил ее, войну-то. Может, она и по сей день дает о себе знать. Из-за нее остался без отца. Его отец не погиб на фронте, но от этого — еще горше. Был он ранен, лежал в госпитале где-то на Урале, а по выходе, демобилизовавшись, там же и остался. Другую семью завел. Слышно, и по сей день жив-здоров. А мать, узнав про все, уже после войны душой, видно, надорвалась и умерла.

Правду сказать, жили они с отцом не больно дружно. Хоть и невелик был Прухха, помнит их каждодневную грызню. Отец называл мать «старой курицей», «кулацкой кадушкой» и «собачьей пастью», мать честила его «дохлым воробьем» и «голодной гнидой». Мать была года на два старше отца и происходила из кулацкой семьи, а своих родственников отец считал, как сам он выражался, «чистыми пролетарьятами». Несмотря на преимущество в происхождении, отец в ссорах и драках терпел поражения и убегал из дому. Возвращался на рассвете. Однажды осенью, уйдя после очередной ссоры, отец вернулся только весной. И то лишь потому, что мать разыскала. Дома прожил он чуть больше двух месяцев — началась война...

Воспоминания были неприятны, от них начинало сосать под ложечкой. И спать не хотелось, как нарочно. А в поле так в сон и клонило. Включил приемник. В избе негромко зазвучала приятная плавная музыка. Прухха откинулся на подушку. Хорошо вот этак полеживать да музыку слушать. Молодец Санькка, что приемник купила. И зря он тогда упирался... Эх, многое он делал зря...

Из-за дивана вот тоже ворчал. Санькка привезла его из райцентра, когда ездила на совещание. Енчиков до-

ставил. С другой бы слупил втридорога. а с Санькки копейки не взял. Не посмел, жила! Куда там! Сам и в избу тяжеленный этот диван внес, да все с холуйскими ужимками: «Куда прикажешь поставить, Александра Ивановна? Не беспокойся, Александра Ивановна...» Все по имени-отчеству. Еще бы! Теперь ее Санькко́й-то, пожалуй, только одни старухи и называют.

Музыка кончилась, и Прухха выключил приемник. Мысли его хороводом кружились вокруг Санькки. В который уж раз задавался вопросом: что стряслось в их жизни? Понятно было бы, если б поносили друг друга грубой бранью, как это делали родители Пруххи. А то ведь совсем наоборот. Случается, что за целый день слова друг другу не скажут.

Нет, Прухха-то и рад бы поговорить, да слова застревают в горле. Потому что Санькка ходит по избе, не замечая его. Она, конечно, знает, что он здесь в избе, но так умеет посмотреть на него, что Прухха уж и сам начинает сомневаться: а вправду ли он здесь?

За окном начало темнеть. Прухха почувствовал голод. Жалость к себе охватила его с удвоенной силой. Он представил себя всеми покинутым, умирающим на диване от голода. Теплый влажный туман заволок глаза, и все предметы в избе расплылись.

«Неужели Санькка не придет домой? — думал он в тоске.— И это зная, что я не могу ходить. Сердца нет у нее, что ли?..»

А в животе будто червь какой завелся, сосал, требовал: давай! давай!.. Хоть бы корку сухую кто-нибудь подал. Да где там! Кому нужен теперь Прухха, больной-то? Ломить на них — это давай, а корку хлеба подать — их нет...

Во дворе захлопал крыльями и горласто прокукарекал петух. Утром, уходя на работу, Санькка задает корм курам на целый день — насыпает полный таз проса или пшеницы. Передохнув минуту, петух снова прокричал, да так громко, что хоть уши затыкай.

«Сытому-то чего не горланить?» — завистливо подумал Прухха.

Последний загон прошли, когда уже стемнело. На небе цвета густой синьки начали зажигаться звезды. Вот сорвалась одна и черкнула по небу голубым огнем. В

детстве Санькку мать учила в таких случаях говорить: «Мое счастье в небесах!» Но давно уже слов этих Санькка не говорит, потому что знает: счастье не на небе, а на земле. А ее персональное счастье — совсем рядом — в Таборе. Обитает оно в ветхом холостяцком жилище Макара Яснова.

Катков остался у трактора, что-то ему понадобилось починить, а Санькка пошла в село. Ветерок, поднявшийся к вечеру, затих. От нагретой за день земли поднимался терпкий дух распаханного чернозема. «Новым хлебушком пахнет»,— любил говорить Мирон Платоныч.

«Повстречался бы сейчас Макар — все бы мы с ним и уладили»,— подумала Санькка.

Но какая может быть надежда на счастливый случай. Нет, Санькка не из тех, кто тешит себя такими надеждами. Макар сейчас, скорее всего, в правлении, вот она туда и забежит. Встреча получится вроде бы случайной...

В правлении Яснова не было.

Ну, что ж, придется отложить примирение. Идти к Макару домой — это уж слишком, пусть и сам со своей стороны похлопочет, коли она ему дорога.

Чтобы не проходить мимо избы Макара, от конторы Санькка свернула на другую улицу. Здесь неподалеку стоял родительский дом. Дела там у нее никакого не было, но все же решила зайти. Она понимала, что единственная цель ее захода — это желание отодвинуть тот неприятный час, когда, явившись домой, придется сготовить ужин, накормить беспомощного Прухху, выслушать его жалкие, глупые и злые упреки. Санькка, впрочем, знала, что упреков она и от родителей услышит достаточно. Правда, отец сейчас на работе, он инвалид, сторожит колхозные амбары. Таисия — в огородной бригаде, там освобождаются поздно. А с одной-то матерью какнибудь Санькка совладает.

Мать хлопотала у печки, готовила ужин.

— Это что, неужто правда? — поздоровавшись, заговорила она, и в голосе ее послышалось возмущение.— Я думала — поругались, чего между мужем и женой не бывает, а она — нате-ка, к агроному бегает, от мужа чуть уж не уходить собирается...

— Не чуть, а давно уже думаю,— спокойно сказала Санькка.— И сейчас вот домой идти не хочется. Червяк, а не человек. Какая с ним жизнь? Одна поездка с картошкой на юг чего стоит. Неделю прогулял... Опозорил.

— Прогулял, прогулял... Не пропил ведь! Муж об доме старается, тебе бы радоваться, а она на-ко — опозорил. Дуреха, пра, дуреха. Ведь такой мужик бережливый — на редкость. Дело не удалось, а деньги за картошку до копеечки мне отдал. Без билета, говорит, ехал, чтобы расходы-то покрыть.

— Какие деньги? — не поняла Санькка.

— Он разве тебе не сказывал? Знать, побоялся. Он ведь и нашу картошку возил. На семена оставили, а лишнюю-то, куда же ее?

Лицо Санькки словно вдруг затвердело, и взгляд заострился, в зрачках будто холодные лезвия проглянули.

— Тебе, мама... Вот не знала...—Она сглотнула слюну, перехватившую голос.— Не человек, не муж для дочери... Нет... Тебе, оказывается, приказчик нужен... Спекулянт... Вон ты какая...

— Какая?

Грозно насупившись, мать уперлась кулаками в бока и подалась к дочери. Была она широка в плечах, гладка, волосы почти без седины — никак не дашь шестидесяти лет. Санькка не помнила, чтобы мать болела; в шестьдесят лет ходила с Тасй работать на колхозный огород и от нее не отставала.

— Так какая же я? — молодо блеснув глазами, повторила мать.— Может, спекулянткой назовешь? Или бездельницей?

Санькка опустилась на лавку. И вправду, что это она... Мать у нее женщина хорошая, добрая. Только что понятия немного другие. Любит, чтобы всего у нее было с запасом. И хлеба, и денег, и одежды. А когда начинаешь над этой ее слабостью подтрунивать, отвечает: «Ты войну переживи, тогда я на тебя посмотрю».

— Ладно, мама, ты уж меня прости, не хотела я...— смущенно улыбнулась Санькка.

— То-то — «не хотела». Говори, да не заговаривайся. Ужинать будешь,— сразу оттаяла мать.

— Да нет, я сейчас сама пойду готовить...

На крыльце послышался топот молодых бегучих ног, хлопнула наружная дверь, и в избу влетела Тая. Следом несколько более степенно вошла ее подружка Марись Агафонова.

— Здравствуй, Санькка, сестрица!—Тая обняла Санькку за шею и, склонившись, чмокнула в щеку; потом закружилась по избе, и юбка на ней раздулась колоколом,

Ей исполнилось недавно семнадцать. Она была стройна, тонка в талии, руки и ноги сильные, загорелые — залюбуешься. Сама круглолица, глаза живые, с искрой. И длинные косы, по примеру Марись, уложены венком вокруг головы.

«Славная девушка, право,—залюбовалась ею Санькка.—Только бы парень повстречался добрый да умный». А восемь лет назад Санькка и подумать не могла, что вырастет такая лебедица из тогдашней худенькой и бледной затурканной девчонки.

Было это весною. Санькка возвращалась из клуба,— смотрела кино. Проходя мимо школы, заметила скорчившуюся под кленом детскую фигурку. Подошла ближе, увидела девочку в длинной не по росту вязаной кофте с огромными прорехами на локтях.

— Ты что же домой не идешь? Поздно ведь,— сказала Санькка.

Девочка закрыла ладонями лицо и тихонько заплакала. Санькка утерла ей слезы и заставила рассказать, в чем дело. Оказалось: девочку избила тетя Сыбани, и она убежала из дому.

Санькка поняла, что перед нею Тая, племянница Сыбани Енчиковой. О Тае Санькка слышала и раньше. Ее мать, младшая сестра Максима Енчикова, отца Кузьмы, еще девушкой уехала из Табора. В городе у нее родился внебрачный ребенок. Постепенно она опустилась, сделалась пьяницей, квартира ее превратилась в притон. Суд лишил ее родительских прав, и ребенка устроили в детский дом. Узнав об этом, Максим Енчиков счел долгом воспитать племянницу в своей семье и забрал из детдома. Но прожил он недолго: погиб в автомобильной катастрофе. При дяде Тае жилось хорошо. Он умел сделать так, что племянница не замечала раздражительного и злобного характера тетушки. Служил как бы амортизатором между нею и Таей. Со смертью Максима все переменилось. Чуть ли не ежедневно ругань, побои, и вот девочка не выдержала...

— Я бы в детдом уехала, там хорошо, да денег нет. И ехать не знаю как,— сказала Тая, всхлипывая.

— Не надо никуда ехать, пойдем лучше к нам,— улыбнулась Санькка.— Поужинаешь да спать ляжешь, а там увидим — утро вечера мудренее.

Мать встретила девочку приветливо. На следующий день на семейном совете решили оставить ее у себя. Не

пустыня же кругом, чтобы живой душе по детским домам скитаться. Будет и сыта, и одета, и обута. А чтобы детей колотить — такого в семье Ударовых сроду не заведено.

Скоро все село узнало, что у Санькки появилась «сестрица». Однажды пришел Тимэр Сармаской. Умел он не только плотничать, но и обувку тачать.

— Ну-ка, дочка, посмотрим, по ноге ли обнова.— Тимэр достал из узелка желтые туфельки,— примерил на Таю — оказались впору.

— Износятся — сошью другие,— обещал он, уходя.

А потом — словно плотина прорвалась. Мать Микиты Каткова принесла для Таисьи шелковый платок, учительница Роза Тимофеевна — шерстяную кофточку, Евдокия Платоновна — вышитое полотенце да две пары чулок, жена председателя, тетушка Велиме,— новое стеганое одеяло.

Мать встречала односельчанок шуткой: «Рано, рано приданое-то несете, мы покуда Таисию не выдаем!» А вот сейчас, пожалуй, и не рано. Выросла Таисия, скоро и замуж выдавать придется.

Характером была она доброжелательна, мягка и весела. Вскоре так привязалась к семье Ударовых, что стала как родная. Тем, кто не знал ее историю, и в голову бы не пришло, что она не родная сестра Санькки. Потому что Санькину мать она звала мамой, а та ее — доченькой. Санькке даже казалось, что Таю мать любит больше, чем ее. И если это так, то понятно: Тая живет с нею, да и характер у девчушки помягче, поласковее, нежели у Санькки...

Тая усадила подругу и повернулась к матери:

— Знаешь, мама, мне, наверное, придется перейти на свиноферму.

— Вот новости! — всплеснула руками мать.— Это еще зачем? Иль там масляными пирогами кормят?

— Понимаешь, у Ивана какие-то неприятности, ранен, что ли, и тетя Евдук едет к нему...

— Какой еще Иван?

— Да сын Евдокии Платоновны. Он на военной службе.

— Господи! — мать так и села на лавку.— Да что же за беда? Диво бы война...

— Ну, я точно не знаю, но Евдокии Платоновне надо ехать. И вот Марись зовет меня на свиноферму. А

то ведь работать некому — не пропадать же свиньям.

— Так-то оно так, да ведь не сладко, доченька, в свинарках-то...

— Вдвоем ничего, тетя Ухрусь, справимся. А потом, ведь скоро нашу ферму механизируют. Макар Макарыч обещал,— заверила Марись.

Санькка увидела, как мать поджала губы, но Макаром ее ум был занят недолго. Она улыбнулась и махнула рукою:

— Ладно, Таисия, воля твоя, иди на ферму. Только уж потом не раскаивайся.

— Нет, мама, нет!

Обрадованные девушки, дробно топоча, выбежали на улицу.

— Погоди, Таисия, а ужинать-то?! — только и успела крикнуть вслед мать.

— Потом, потом, мама! Мы к тете Евдук! — донеслось уже с улицы.

«Пора и мне идти,— думала Санькка.— Емеськин-то, поди, изнылся весь, до слез себя изжалел». Но, господи,— как не хотелось идти домой! Домой? Там, у Емеськина, ее дом? Вот чепуха-то... У Макара — вот где ее дом. Здесь, у матери, ее дом. Но только не там, где живет Новый Прухха.

— Мама, можно я перейду к вам? — вырвалось у нее.

Еще секунду назад она не знала, что выскажет матери такую просьбу. Что ее побудило? Жизнерадостность Таи... Атмосфера доброжелательства, заботливости, уютной хлопотливости, исходящая от матери... На этом фоне мрачным, скучным недугом выглядит ее существование в доме Емеськина.

— Завтра же, а? — продолжала она, уже поверив, что здесь для нее будет нечто вроде промежуточной станции на пути к Макару.

— Ну что ж,— подумав, сказала мать,— коли уж невмоготу, живи у нас. Я хоть тебя даве и поругала, а тоже понятие имею,— слава богу, век прожила. С ними, с мужиками-то, иной раз никакого нашего бабьего терпенья недостает. До того уж опостылят, что готова наша сестра убежать куда глаза глядят. Завтра и переходи. А хоть — и сегодня.

— Да я уж, мама, завтра,— в радостном возбуждении проговорила Санькка.— Ну, побегу.

Прухха съел приготовленный женою ужин, и недавняя тоскливая жалость к себе исчезла, как и не было ее. Желая чем-нибудь угодить Санькке, благодушно заговорил о том, что ей, мол, тяжело ухаживать за скотиной, поэтому свинью надо бы продать, да только вот не знает, как выгоднее — целою тушей или порубить свезти?

— По мне — хоть выкинь,— сказала Санькка, и больше не услышал он от нее ни слова. Она ушла на кухню, взялась что-то стирать, а оскорбленный Прухха вскоре заснул.

Проснулся он на рассвете. В избе уже развиднелось, можно было различить спящую на кровати Санькку. Под боком у нее, свернувшись клубочком, сладко мурлыкала кошка. У Пруххи от возмущения даже сердце закололо. На что это похоже? Какая-то шелудивая кошка занимает его, Пруххи, законное место, а он вынужден куковать на диване. Каково, а? Хоть в газету пиши. Жаль, что в письме в райком не указал он на этот вопиющий факт. Нет, еще и мурлычет, гадюка... Взять вот за ноги, да головой об угол. Около Санькки не диво замурлыкать, жаркая она...

«Все-таки поговорить бы с ней как следует,— думал Прухха.— Да как поговоришь, коли слушать не хочет? Вон вчера — пробовал... И ласково, и все... А может, не надо ласково-то. Говорят, женщину в узде надо держать... Взять вот да перейти к ней... Скок-скок на одной ноге... Муж я или не муж?»

Прухха встал и свесил ноги с дивана. Но, вспомнив случай с вывихнутым плечом, сразу поостыл. Черт ее знает: изувечит,— ходи потом по докторам. Нет уж, от греха подальше.

Он поправил подушку и хотел лечь, но тут его словно прострелила мысль насчет дверей — заперты ли? Панически боялся Прухха спать с незапертыми дверями. Наружную дверь он всегда запирал сам. Санькке не доверял. Ей что есть запоры, что нет — все равно. Конечно, про случаи воровства или ограблений в округе давно уж не слыхали, ну да ведь и дверь запереть — труд небольшой. Заберется какой-нибудь нечистый на руку — у них взять многое можно. И приемник, и подушки, и Саньккины платья, и его, Пруххи, выходной костюм. Допусти, к примеру, старика Купцова,— этот даже гвоздя в стене не оставит...

Со стороны крыльца послышался шорох. Прухха, опи-

раясь о диван, осторожно приподнялся на одной ноге, прислушался. «Ну вот,— страхом обдала мысль,— легки на помине». Долго стоял, навострив уши, но шорох не повторился. Таилась в углах избы тишина. Только сердце бухало, точно кувалда по наковальне.

«Видать, соседский пес,— подумал Прухха и не замедлил осудить пса: — Тоже дурак лопоухий. Другой бы гавкнул для острастки: тут, мол, я, сторожу, спите и все такое... А этот забился, должно, в конуру и дрыхнет почем зря. Одно только — жрать горазд...»

Прухха встал, запрыгал на одной ноге к двери. Вышел в сени. Дверь на улицу и на самом деле оказалась незаперта. Хотел было приоткрыть, выглянуть, да поостерегся и торопливо задвинул щеколду. Не ровен час... И тут вдруг над самым ухом заорал кто-то дурным голосом, сердце Пруххи упало куда-то в живот и ноги сделались словно кисель...

Прухха перевел дух. «Ах, проклятый! Надо же иметь такую луженую глотку... Кукарекает без всякого стеснения... Словно рядом с ним не люди живые, а пеньки бессловесные. Вот не покормить денька два — небось не закукарекаешь...»

Светало. Прухха утер со лба холодный пот и вернулся на свой диван.

Глава десятая

Сын Евдокии Платоновны Иван Калашников в колхозе был механизатором, а в армии попал в саперы. Служил он далеко от родных мест, на западе страны. Человек по натуре добросовестный, служил он хорошо. И кончил бы службу в срок и благополучно вернулся бы домой в Табор, если бы не случившаяся много лет назад Великая Отечественная война. Завершившись в тот год, когда Иван родился, она успела поставить на нем метку своей будущей жертвы.

В областном городе, при строительстве нового жилого массива, экскаватор выковырнул из земли стабилизатор бомбы. Вызвали саперов. Иван попал в группу, которой было поручено исследование подозрительного района.

Установили, что во время войны на этом месте находился немецкий склад боеприпасов. Потом его взорвали. В земле саперы нашли множество бомбовых стабилиза-

торов и различных осколков. И если приглядеться, то можно было заметить на месте бывшего склада обширную воронку, похожую на мелкую тарелку. Но несколько бомб и до сотни ручных гранат уцелели. Саперы извлекли их из земли, вывезли за город и там взорвали. Но одна граната взорвалась самопроизвольно, до срока. Один солдат пострадал — Иван Калашников.

Смерть прошла мимо него, лишь слегка задев своею косой. Одни считали это чудом, другие—счастливой случайностью, но он не только остался жив, а даже серьезных ранений не получил. Во всяком случае, сам Иван, очнувшись на госпитальной койке, сразу сумел как специалист-взрывник оценить подарок, сделанный ему судьбой. «Жив! — подумал он, услышав голоса неподалеку.— Повезло тебе.» Отчетливо запечатлелись в памяти последние мгновения... Недалекое голое мелколесье... Солнце, поминутно пропадающее за серыми расплывчатыми облаками, которые брызгают то дождем, то снегом... Он кладет гранату — бурую, изъеденную ржавчиной,— разгибается, пятясь, делает назад шаг, другой... Оранжевая, ослепительная вспышка... Звука взрыва он почему-то не услышал.

Когда Иван захотел открыть глаза — узнать, где он находится,— это ему не удалось. И только тогда страх сжал сердце. Что с глазами? Он решил ощупать их пальцами, но руки поднялись с трудом, пальцами невозможно было пошевелить, и понял Иван, что весь он в бинтах. Лицо — тоже.

— Ослеп! Ослеп!—отчаянно закричал он.—Не надо!..

Но это ему только казалось, что он закричал, на самом же деле находившаяся в палате сестра даже не услышала его голоса, лишь уловила движение рук.

Ему сделали укол, но он не почувствовал, опять потерял сознание.

А потом, когда пришел в себя, не захотел ни с кем говорить. Его спрашивали, он не отвечал. Молча терпел боль. А боли хватало. Много мелких осколков впилось в руки, в ноги, их вынимали, а новокаиновая блокада не всегда помогала.

И потекло своим чередом существование в темноте. Время суток Иван различал по приходу няни, производившей с утра уборку, по завтракам, обедам и ужинам, по градуснику, который совали ему под мышку дважды в сутки — утром и вечером, по усилению и затуханию

уличного шума. В палате было тихо, лежало тут всего двое больных, и ничего другого Ивану не оставалось, как думать целыми днями, вспоминать о былом. Он воскрешал в памяти образы матери, друга Якку, других односельчан, картины Табора, знакомые с детства поля, луга, острова на Свияге, заросшие ивняком, овраги и ерики, омуты и речки. Вспоминал названия: Чертов глаз, Русалкин глаз, Лебединая шея... Видно, что предки его неравнодушны были к красоте природы, коли речушку, что впадает в Свиягу у Лысой горы, назвали Лебединой шеей.

Не вспоминал Иван только Ларису. Ее не требовалось вспоминать, она не выходила у него из головы. С мыслью о ней просыпался, с мыслью о ней засыпал.

Познакомились они прошлой осенью.

Много было у Ивана друзей в роте, но ближе, чем с другими, сошелся он с Харисом Абдуловым, татарином по национальности. Возможно, оттого они сдружились, что оба прибыли из одних мест. От Табора до родного села Хариса выходило около двухсот километров. Но поскольку от места службы до их родины расстояние было раз в десять больше, то они посчитали себя земляками.

По воскресеньям вместе ходили в увольнение. Дорожку давно протоптали: у всех солдат она одинакова — в кино да на танцы. Иногда в филармонию. Но в филармонии музыка уж очень серьезная. Просто чувствуешь себя дурак дураком. А для солдата такие чувствования не положены — от этого служба страдает.

Однажды комсорг роты вручил Ивану и Харису, как ребятам надежным, билеты на вечер в клуб строителей. Пришли. Сдали на вешалку шинели. Причесались перед зеркалом и оправили парадные мундиры. Вошли в зал, где вот-вот должна была начаться художественная часть, огляделись. Полно девушек. И каждая вторая — красавица. Так решил Харис. Сели с краю, у прохода. Иван, рядом Харис, два следующих места занимали девушки. Первая — ничего себе, вторая — красавица. Правильно подметил Харис, глаз точный. Парень он был веселый, общительный и, пока шла художественная часть, успел перекинуться с девушками несколькими фразами. Причем говорил с тою, которая сидела рядом, а глаза таращил на другую.

Потом начались танцы, аттракционы. Девушек они потеряли из виду и, потанцевав, решили уйти. Направи-

лись к дверям зала, но тут заиграла музыка, пришлось пробираться вдоль стены. Какой-то нетрезвый парень силой тянул девушку в круг танцующих, она упиралась, и довольно энергично. Харис схватил Ивана за руку. В девушке узнали черноокую красавицу, что вместе с подругой сидела в зале рядом с ними.

Парню, горевшему неуемным желанием танцевать с нею, она сопротивлялась вовсе не шутливо, не из кокетства, как можно было бы предположить. На лице ее Иван уловил гримасу досады и отвращения. Возможно, в ином случае Иван и Харис позвали бы дружинников, красные нарукавные повязки которых мелькали в коридоре. Потому что большинство из присутствовавших друг друга знали, и вмешательство посторонних в местные инциденты могло оказаться и нежелательным. Но сейчас это соображение не было принято во внимание. Потому что оба, и Харис и Иван, считали себя уже как бы знакомцами черноокой девушки. И пройти мимо, хотя бы даже с благородной целью позвать дружинников, они не могли.

Подхватив с двух сторон под руки парня, они в мгновение ока — парень слова не успел вымолвить — выволокли его в коридор и поручили заботам дюжих ребят с красными повязками. «Операция икс», как они тут же со смехом окрестили свое вмешательство в ненормальные взаимоотношения парня и девушки, заняла не больше пяти минут. Затем Харис с Иваном спустились в раздевалку и тут нашли черноокую и ее подругу. Обе сдержанно поблагодарили солдат, на что Харис ответил предложением проводить их до дому. Предложение девушки приняли. Жили они в общежитии строителей. По дороге кое-что рассказали о себе. Обе они недавно закончили строительный техникум и работали техниками. Черноокая, носившая замечательное звучное имя Лариса, была родом с Украины, родителей не помнила, воспитывалась в детском доме. Узнав все это, Иван проникся к ней участием, которое разделял и Харис. Немалую роль тут сыграла внешность Ларисы. Однако, проводив девушек до общежития, Иван не попросил черноокую о новой встрече, постеснялся Хариса. Тот, в свою очередь, постеснялся Ивана. И тот и другой догадывались, что девушка нравится им обоим.

В следующее воскресенье Иван пошел в увольнение один, Харис был занят в наряде. Полдня провел Иван

возле общежития, на улице, не решаясь войти. И дождался своего. Лариса выбежала в находившийся неподалеку продовольственный магазин, и там, в магазине, произошла их «случайная» встреча...

Узнав об этом на следующий день от Ивана, Харис с притворным вздохом изрек:

— Судьба играет человеком! — и добавил назидательным тоном учителя младших классов: — Человек — это я, судьба — это наш помкомвзвода, сунувший меня в наряд под воскресенье.

Хороший у него характер, у Хариса.

Иван встречался с Ларисой каждое воскресенье. Взаимная симпатия перешла в любовь; к весне — Ивану оставалось служить до осени — они уже начали строить совместные планы на будущее.

— Вот отслужу, и поедем ко мне в Табор, на Свиягу,— мечтал Иван.— Будет у тебя мать, Евдокия Платоновна. Старушка она бойкая, тормошливая, что не по ее — про себя держать и дуться не станет, сразу все выложит. Но добрая и... легкая какая-то.

— А может, здесь останемся, Ваня? Поступишь на стройку. Понимаешь, боюсь, что мне у вас в селе не найдется работы по специальности.

— А мы посмотрим. Не найдется — уедем. Но я думаю, найдется, не в Таборе, так в соседних колхозах.

И вот лопнули все планы, как мыльный пузырь. Реальны только темнота, боль и грядущее одиночество. Он, Иван, любит Ларису, но если даже она пожелает связать с ним свою жизнь, он не согласится сделать ее несчастной.

Однажды сестра сообщила, что к нему желает пройти девушка, назвавшаяся Ларисой. Иван просил не пускать ее. Но часа два спустя сестра опять зашла и сказала, что девушка сидит в коридоре вся в слезах и требует пропустить ее к нему. За эти три недели пребывания в темноте душа Ивана окаменела. Даже слезы любимой не могли смягчить ее.

Он не писал писем матери. Предложения сестер написать отклонял под тем предлогом, что мать все равно не знает русской грамоты. Письма, полученные из дому, складывал в тумбочку нераспечатанными. Он не хотел ни сочувствия, ни слез жалости. Он старался утвердиться в своем несчастье, притерпеться к нему...

Лариса все же к нему пришла. И когда он услышал

ее радостный голос, когда ощутил на лице, на губах ее поцелуи, душа его вдруг размякла, как лед под апрельским солнцем, и решимость до конца дней остаться наедине со своим несчастьем улетучилась.

Раны на теле Ивана затянулись. Он встал на ноги, ходил ощупью, по стенке.

Теперь за него взялся врач-окулист полковник Шенфельд. От него Иван узнал наконец-то, почему у него забинтованы глаза. Мелкие, почти микроскопические осколки гранаты поразили роговицу глаз и одну из важнейших деталей механизма зрения — хрусталик. И все же правый глаз, по словам Шенфельда, можно было сохранить путем сложной операции, а вот с левым, скорее всего, придется распрощаться.

— Значит, все-таки останусь инвалидом,— упавшим голосом сказал Иван.

— Дорогой мой Калашников,— положив руку на плечо Ивану, сказал Шенфельд,— инвалид и калека — совершенно не одно и то же. Калека, то есть человек без руки, без ноги или без глаза, может жить активнейшей творческой жизнью, работать по двадцать четыре часа в сутки, не замечая усталости. Но есть немало людей с двумя руками, ногами и глазами, питающих отвращение к работе, к делу. Цель жизни они видят в том, чтобы пьянствовать, развратничать, и превращаются к сорока пяти годам в развалину. Какую из этих двух категорий отнести к инвалидам — на сей счет двух мнений, полагаю, быть не может. Чаще всего не обстоятельства, а человек делает себя инвалидом. Вот здесь,— Шенфельд тихонько постукал Ивана по голове,— источник большинства наших радостей и несчастий — в психике. Постарайтесь привести ее в равновесие — и все будет хорошо.

Дня через два Шенфельд прочитал присланное на имя главного врача госпиталя письмо Хариса Абдулова. Харис предлагал взять у него один глаз для пересадки Ивану Калашникову. Специально Харис счел необходимым подчеркнуть, что зрение у него стопроцентное, а по стрелковой подготовке он имеет оценку «отлично».

— Ну как, Ваня, принимаешь глаз? — спросил Шенфельд, закончив чтение.

— Никак нет, товарищ полковник.

— Правильно, зачем он тебе? Один глаз мы тебе поправим наверняка, так что в любом случае у вас с этим

Абдуловым будет три глаза на двоих. Он тебе друг, что ли?

— Друг, товарищ полковник.

— Хороший друг?

— Хороший, товарищ полковник.

— А чего это у тебя тон такой минорный?

— Да вот думаю, товарищ полковник. Хватило бы меня на это? Ну, чтобы глазом для друга пожертвовать? Для Хариса?

— И как же?

— Не знаю, товарищ полковник. В книгах читал, что ради товарищей не то что глазом, жизнью жертвуют. Молодогвардейцы, например, или Александр Матросов... А про себя — не знаю.

И рассказал Иван полковнику Шенфельду о том, как они с Харисом познакомились с Ларисой и как он, Иван, опередил друга, воспользовавшись тем, что тот не попал в увольнение.

— И совесть твоя теперь неспокойна? — спросил Шенфельд, и по тону его Иван понял, что он улыбается.— Самоедство это все, дорогой мой, самоедство. Не думаю, что твоему Харису так уж необходима была встреча с той девушкой, иначе он нашел бы способ опередить тебя, во всяком случае как-то привлечь к себе ее внимание. Я, будучи влюбленным, в аналогичной почти ситуации в самоволку сбежал.

— Вы? В самоволку? — искренне удивился Иван.

— А ты что же думал — я всю жизнь полковничьи погоны ношу? Нет, Ваня, и я был в свое время рядовым курсантом Военно-медицинской академии. А самоедство брось. Иначе превратишься в худосочного психопата. Да и бесполезно. Ведь сколько человек в мыслях ни пыжится, а поступает-то всегда в соответствии со своим характером, а характер — продукт воспитания. У тебя, полагаю, тут все в порядке, в случае нужды не дрогнешь.

— Не знаю, товарищ полковник. Я вот вопрос один собираюсь задать, и то меня в дрожь кидает.

— Задавай свой вопрос.

— Когда операция?

Шенфельд помолчал. В его молчании Ивану почудилось сомнение, приговор к вечной слепоте... Он отогнал эту паническую мысль, облизал пересохшие губы.

— Операция? А как у тебя с душевным равновесием?

Иван перевел дыхание, улыбнулся.

— Вроде бы налаживается.

— А я думаю, что уже наладилось,— полковник легонько похлопал его по спине.— Кстати, впервые вижу твою улыбку, Ваня. С чем тебя и поздравляю. Операция будет завтра.

Когда Шенфельд покинул палату, Иван встал и подошел к окну. Он не видел окна, но знал, что до него три шага. Сделав их, протянул вперед руку и коснулся пальцами влажного стекла. Что там, за окном? Сквер? Дома? Улица, люди, идущие по своим делам? Увидит ли он все это? Конечно, увидит, увидит... Полковник Шенфельд слов на ветер бросать не станет. Интересно, какое у него лицо?

...Главное свойство времени — движение. Все проходит. Недостижимое, казалось бы, будущее становится прошлым. И это прекрасно.

Благополучно прошла операция. Когда через несколько дней сняли повязку, Иван увидел. Одним правым глазом, но увидел, кончилась для него затянувшаяся на целый месяц ночь. Полковник Шенфельд оказался симпатичным пожилым человеком, ничем не напоминающим военного. За окном палаты оказался сквер, а за ним улица и прохожие, и все так, как он рисовал в своем воображении. И жизнь почему-то умиляла каждым своим даже пустяковым проявлением, она вызывала бурю восторга там, где раньше оставляла равнодушным.

Матери Иван написал письмо, где весьма невнятно сообщил о своем ранении и о том, что он досрочно демобилизован. И вот за день до выписки в палату заглянула сестра и сказала:

— Калашников, к вам гости.

В дверях появились мать и Лариса.

Ивана поразило то, что они пришли вместе. Каким образом и где успели они познакомиться?

До сих пор Иван видел свою мать в избе да во дворе, в огороде да на улице, в поле да на ферме. Там видеть ее было привычно, потому что она являлась неотъемлемой частью тамошней жизни. А здесь, в просторной палате со светлыми стенами и высоченным потолком, она, в накинутом на плечи белом халате, казалась маленькой и растерянной. Но только сейчас, увидев ее, он почувствовал сильно и неотразимо, как близки, как нужны ему родные поля, как истосковался он по ним.

— Мама...

До армии между ними существовали отношения ровные, сдержанные. Он начал стыдиться материнской ласки лет с семи, как пошел в школу. Она понимала его стремление к самостоятельности и не пыталась лаской подчеркивать его зависимость от нее.

Но сейчас — это получилось помимо воли — Иван обнял и нежно поцеловал мать. Потом поздоровался с Ларисой.

Мать отступила на шаг, пристально посмотрела на черную повязку, закрывавшую левый глаз.

— Совсем нет? — спросила, и голос ее дрогнул.

— Нет.

Морщинистые губы матери побелели — она сжала их, сдерживая слезы. И сдержала. Когда села на стул, предложенный сыном, глаза ее были сухи. Рядом Иван поставил стул для Ларисы. Она сидела, поглядывая то на него, то на мать, и не вмешивалась в их разговор.

Иван не вытерпел, улыбаясь, спросил мать, взглядом указав на девушку:

— Где вы познакомились?

— Здесь, внизу. Я ведь сперва к тебе в часть попала. Встретили прямо как родную, уж даже и неловко. Накормили, в машину усадили и привезли сюда. А вместе со мной товарищ твой приехал, внизу он сейчас, как бишь его...

— Харис Абдулов!

— Вот-вот, он и есть. Увидел девушку-то, ну и познакомил.— Евдокия Платоновна подалась к сыну и спросила, стараясь, чтобы Лариса не услышала: — А кто она будет-то, сынок?

Иван приник к ее уху.

— Мама, ты ее полюби, у нее нет родителей. Будь с ней ласковее. Мы хотим пожениться. Она... со мною, в Табор...

— Ну, ну, сынок, дай бог, дай бог...— Евдокия Платоновна, стараясь не показаться назойливой, с новым интересом оглядела Ларису и, верно, осталась довольна, потому что заговорила с оживленной улыбкой, нагибаясь над сумкой.— Тут вот твоя тетка Велиме гостинец тебе прислала.— Евдокия Платоновна выложила на тумбочку завернутый в бумагу шыртан, начиненный бараниной, и поджаренный рубец.— Сама-то я в нынешнем году не делала: и есть некому, да и времени нету. Вот уже вернемся — сделаю.

Иван отрезал кусочек шыртана, остальное вернул матери, как она его ни упрашивала съесть все.

— Не могу я, мама. Куда же тогда казенную пищу девать? Ты лучше скажи, где думаешь жить эти два дня? Меня только послезавтра выпишут.

— Не беспокойся, Ваня, Евдокия Платоновна побудет у меня в общежитии,— сказала Лариса и — будущей свекрови: — Вы не против?

— Нет, голубушка, зачем же противиться добру-то? Спасибо тебе.

...Через день, распростившись с товарищами и командирами, обменявшись адресами с Харисом, Иван вместе с невестой и с матерью уехал домой.

Глава одиннадцатая

Рано утром Марись отправилась на ферму. В последнее время она повадилась ходить туда Полевой улицей, убедив себя, что так ближе. На самом деле выигрыша в расстоянии не получалось. Но выигрыш все-таки был — Марись ежедневно проходила мимо дома Якку и хотя издали, хотя мимоходом имела возможность наблюдать его житье. Виделись-то они не так часто, как обоим хотелось бы.

Окна в избе Якку были занавешены, во дворе пусто. Мать его опять жила дома. В больнице ей стало лучше, и она убедила Якку забрать ее домой. Сейчас он, наверное, готовит пойло для скотины, а потом, позавтракав всухомятку, пойдет на работу. Матери он запрещает заниматься домашними делами, велит не утруждать себя.

Погода уж который день стояла ясная. После майских праздников прошли теплые дожди, зазеленели поля. Высокая береза перед домом Якку, что в окружении низкорослых ветел напоминала взрослого с группой детишек, давно уже оделась зеленью, и сквозь нее едва проглядывали грачиные гнезда. Всего их там семь гнезд. Марись давно уже сосчитала. Кто знает, возможно, скоро этот дом станет и ее, Марись, домом... И красавица береза всегда будет у нее перед глазами.

Только изба уж очень ветха, совсем ушла в землю. Пожалуй, правильно сделал Якку, что поступил на стройку: изба требует ремонта. Только прежде ему, конечно, следовало посоветоваться с нею, с Марись.

Миновав заветный дом, Марись прибавила шагу, и вскоре была на ферме. Вошла в дежурку. На раскладушке, уткнувшись лицом в подушку, лежала Тая, плечи ее вздрагивали. Удивительно: что же могло так огорчить хохотушку Таю? Марись, пожалуй, впервые видела ее плачущей.

— Тая, Тая, что случилось? Ну, полно, успокойся...

Тая, крепившаяся до того, решила, что уж раз слез все равно не скрыть, то нечего и сдерживаться, и зарыдала в голос. Марись взяла ее за плечи, попыталась оторвать от подушки, строго прикрикнула:

— Перестань сейчас же, слышишь? Ведь не ребенок же, стыдись!..

Тая села на раскладушке, глаза у нее были красные, припухшие. Марись обняла подругу, погладила по плечу.

— Ну, в чем дело, рассказывай.

— А что... рас...сказывать-то? — всхлипывая, сказала Тая.— И... Иван приехал. Калашников...

— О, мой двоюродный вернулся! А я и не знала... Ты видела его?

— Нет. И не ...желаю.

— Да? А плакала-то все же отчего?

— Я же... я тетю Евдук провожала на станцию...

— Ну и что?

— И просила ее Ивану привет передать. А он... а он...— Тая опять зашмыгала носом.

— Да погоди,— что же он-то?

— А он жену привез, говорят. Красавицу. А сам с одним глазом вернулся. Я бы его и с одним глазом любила...

И Тая опять было повалилась на подушку, но Марись удержала ее:

— Подожди, да разве он тебе нравился?

— Конечно. Еще до армии.

— Да ведь ты тогда совсем еще девчонкой была, он тебя, наверное, и всерьез-то не принимал.

— Все равно,— неожиданно горячо возразила Тая,— раз я его первая полюбила, то и должен был меня в жены брать, а не какую-то постороннюю.

Марись так и согнулась пополам от смеха.

— Ну чего, чего смеешься-то? — затормошила Тая подругу.— А как же, по-твоему, это делается? Я же привет ему передала.

— Ой, и зеленая ты, Тайка,— едва выговорила сквозь смех Марись.

— Смотри-ка, я зеленая... А ты-то когда созреть успела? Подумаешь, два раза с Якку поцеловалась — и нос задирает...

— Я хоть два, а ты вообще ни разу... Ладно, иди умойся.

Тая подошла к умывальнику, поплескалась, затем лицо ее приняло лукавое выражение; набрав в ладошку воды, она брызнула на Марись, и вот уже в тесной дежурке началась возня, и звонкий Таин смех разнесся по всей ферме.

— Ой и чудная же ты,— сказала Марись, когда обе успокоились.— Только-только плакала, и уже смеешься... Ведь если любимый изменил, то не до смеха.

— А Иван вовсе и не мой любимый.

— Как? Ты только что говорила, что любишь его.

— Ну, я думала, что люблю... А когда узнала, что он приехал с женой, сразу разлюбила.

— Зачем же тогда плакала?

— Так ведь, чай, обидно... Привет передавала. Думала — приедет, опять у клуба будет встречаться, танцевать... Ой агам [1],— закинув руки за голову, мечтательно проговорила Тая,— вот слышу: любовь, любовь... А что это — любовь? Какая она? Я, например, любила? Или еще нет?

— Ой, ну и скажешь,— опять рассмеялась Марись,— хоть сейчас клоуном в цирк!

— А ты объясни, чем смеяться...

— Да что ж тут объяснять? Вот я в какой-то книге читала... Там на твой вопрос отвечено примерно так: если о том, что есть любовь, спрашивает человек молодой, ему следует ответить: «Подожди, сам узнаешь»; если старик,— ему достаточно посоветовать: «Вспомни»; если человек средних лет,— его надо пожалеть. Не познавшему любви нечего вспомнить в старости, он — несчастен. Так что, Тая, надо ждать. И тебе, и мне.

— Ну тебе-то ждать только прихода Якку. А вот мне... просто не знаю, как быть. Все парни кажутся славными такими и все нравятся.

— Кто же, например? — сгорая от любопытства, поинтересовалась Марись.

---

[1] А г а м — близкая подруга, названая сестра.

— Да вот хоть Аврам.

— Аврам?

Марись почувствовала, что краснеет, и нагнулась, чтобы подобрать с пола былинку. После той поездки за соломой она сторонилась Аврама Линькова, почти не разговаривала с ним. Он почувствовал ее отчуждение и больше не делал шагов к сближению, напротив — взял с нею насмешливый тон. Она поискала, куда бросить былинку, подошла к умывальнику, швырнула ее в ведро. Судорожно соображала: рассказать ли подружке об ухаживаниях Аврама или нет. Решила: не стоит. Тая подумает, что встала у нее на дороге... Или что она, Марись завидует... Вообще о таких вещах надо помалкивать. Тем более что Аврам — парень безобидный, так — шалопут. Не в силах совладать с любопытством, спросила:

— Говорил он тебе что-нибудь?

— Ага. Что у меня глаза красивые и в них веселые чертики.

— Трепач.

— Ты видно, не любишь его. Но почему? — огорчилась Тая.

— А ты уже влюбилась? — не без сарказма усмехнулась Марись.— Нет в нем ничего такого, за что бы его любить.

— А я вот читала, что любят ни за что.

— Зато не любят за что-то.

— Так я и спрашиваю тебя...

— Ой, болтушки мы с тобою! — всплеснула руками Марись, вскакивая с раскладушки.— Корм задавать надо, а мы про парней...

Они проворно повязали платки и выбежали из дежурки.

«Наверное, она из-за деда Мигиша не любит Аврама»,— подумала Тая. И вправду, старого скрягу Купцова не уважали на селе, насмехались над ним; антипатию, которую испытывали к деду, иные поневоле переносили и на внука.

Не успел Иван переступить порог родной избы, как один за другим пошли родственники, друзья и просто соседи. Паломничество это объяснялось просто: всем, особенно женщинам Полевой улицы, не терпелось посмотреть на Ларису. Здороваясь с нею, смущались, потому что,

во-первых, сами сознавали свое назойливое и праздное любопытство, во-вторых, девушка была из городских да еще и красива, и, в-третьих, по всему видать, образованная.

Под вечер пришел старый друг Якку. Начались похлопывания по плечам, восклицания, вопросы... Но стоило появиться Ларисе, как Якку оробел, стушевался и замолчал. И как ни пыталась Лариса разговорить его, это ей не удалось, на вопросы он отвечал односложно. И даже обычное «еким-меким» не слетало с его уст.

— Дай человеку прийти в себя,— шепнул ей Иван.— Мы ведь стесняемся городских. Особенно девушек.

— Судя по тебе, этого не скажешь.

Насилу уговорил Иван своего друга сесть пить чай.

Когда на улице стемнело, явились Мирон Платоныч с Ясновым. Евдокия Платоновна приготовила угощение, не забыла и графинчик вишневой наливки домашнего приготовления. Поскольку за столом, не считая хозяйки и Ларисы, собрались все бывшие солдаты, то и разговор поначалу шел сугубо военный: о зимней кампании 1941 года, о форсировании Днепра, об автоматах «шмайссер» и ППШ, о гранатах РГД и Ф-1, о минировании и разминировании, о ракетах тактических и стратегических и в целом о стратегии как таковой.

Разговаривали солидно, с обобщениями, старались блеснуть перед черноокой Ларисой «городской» русской речью и культурным обращением. То и дело слышалось: «простите», «извините», «возьмите, пожалуйста», «благодарствуем». Особенно изощрялся Мирон Платоныч. В каждой его фразе слышалось: «Думали, у нас тут медвежий угол? Э, нет, мы тоже люди с понятием и кругозор имеем».

Постепенно разговор перешел на колхозные темы. И наконец Мирон Платоныч задал племяннику вопрос, которого тот ждал с нетерпением.

— Чем думаешь у нас заняться?

— Может, снова дадите трактор? — подался к председателю Иван.— Если сомневаетесь насчет зрения, так я и одним глазом увижу что надо. Могу сесть и на комбайн.

Мирон Платоныч отхлебнул чаю из стакана. Лицо его было непроницаемо. Сказал:

— Насчет твоего зрения сомнений у меня никаких нет. Только у тракторов и комбайнов пока имеются

хозяева. Гвоздь на гвоздь не вобьешь. Сейчас мы вводим в колхозе еще одну штатную единицу — механик ферм. Пойдешь?

— А много у вас на фермах техники? — Иван скупо улыбнулся.

— Достал вот Макар Макарыч колодезный насос с бензомотором — пока и вся техника. Установишь его на свиноферме. А там... Не бойся, мил друг, дело от тебя не убежит. Получим от завода электричество — механик ферм сделается в колхозе главным лицом.

— Когда прикажете приступить к обязанностям? — по-солдатски звонко спросил Иван.

— Завтра с утра и приступай,— ответил Мирон Платоныч.

Тут вмешалась Евдокия Платоновна:

— Сроду у тебя, Мирон, так: то лежишь колодой, то гонишь, индо дух захватывает. Дал бы отдохнуть племяннику недельку-другую. Да и пожениться им надобно,— кивнула в сторону Ларисы,— не век невестой да женихом ходить. Чай, в одном доме живут, нехорошо.

— Ничего, мама, завтра подадим заявление в сельсовет, а в субботу распишемся,— весело отозвался Иван.— Приглашаю вас, товарищи, на свадьбу. А насчет отдыха — так в госпитале я на три года вперед наотдыхался.— И председателю: — Договорились, дядя Мирон, завтра выхожу.— Улыбнулся.— А то неловко: Лариса завтра собирается на работу устраиваться, а я штаны по лавкам просиживать?

— Куда же думаете? — обратился Мирон Платоныч к девушке.

— У вас тут строится сахарный завод, попытаюсь туда.

— А что,— Мирон Платоныч вытянул шею и насторожено склонил голову,— специальность какую-нибудь имеете?

— Да. Я техник-строитель.

— Что?! — Мирон Платоныч даже со стула приподнялся, подавшись через стол к Ларисе.— Да быть того не может?!

— Почему не может? — удивилась девушка.— У меня есть диплом об окончании техникума; если хотите, покажу...

— Что же ты молчала, голубушка?! — воскликнул председатель.— Мы кирпичный завод наметили на Лысой

горе строить, специалиста ищем, руководствовать некому, а она, вишь, на сторону наладилась. Ну, Евдук,— энергично погрозил он пальцем сестре,— им, молодым, простительно, они тут люди новые, а ты-то, ты-то что ж не вразумила насчет кирпичного завода?

— Я уж тебе, милый братец, давным-давно сказала: не знаю, что вы там на правлении решаете, потому с фермы не вылазию.

— Э-эх,— махнул рукой Мирон Платоныч,— нету в тебе этого...

И он, выставив ладонь вверх, покрутил в воздухе пальцами. Что обозначал сей жест, осталось неясным, возможно,— особенную какую-то ловкость.

— Словом, Лариса... простите: как вас по отчеству?— вступил в разговор Яснов.

— Артемовна.

— Словом, Лариса Артемовна, предлагаем вам должность прораба на строительстве кирпичного завода. Условия, коли в целом взять, не хуже, чем в городе, а то и получше. Соглашайтесь.

Лариса взглянула на Ивана и, поняв, что он не против, сказала:

— Я согласна.

— А вот теперь,— с некоторой торжественностью проговорил Мирон Платоныч,— попрошу тебя, Лариса Артемовна, показать диплом. Ты уж не взыщи — лестно подержать в руках диплом первого в Таборском колхозе ученого строителя.

Лариса достала из чемодана заветную синюю книжечку с толстыми корками и тисненым гербом, подала гостям.

— Ай да Иван, ай да племянник! — потрясая дипломом, ликовал Мирон Платоныч.— Как же это ты сумел этакой бриллиант ухватить?

— Все началось с «операции икс»...— Иван любовно посмотрел на невесту и начал рассказывать.

Тая вышла во двор, присела на старую колоду в тени свинарника. И сразу почувствовала, что устала. Ныли плечи, шея, поясница, саднило изрезанные ведерными дужками пальцы. Столько перетаскано полных ведер воды и корму. Скорее бы уж насос установили, тогда бы воду не надо таскать. Даже подошвы ног огнем горят. А день только начался... Пока можно перевести дух.

Марись ушла завтракать, затем сходит на завтрак Тая. А там опять: чистить свинарник, готовить корм, таскать полные ведра...

И все-таки жизнь была прекрасна, ослепительные блики солнца, отражавшиеся в корыте с водой, веселили сердце, отбрасываемые ими на стену свинарника зайчики казались на диво симпатичными. О вчерашних своих слезах по поводу «измены» Ивана Калашникова вспоминала Тая с улыбкой.

Послышались шаги. Тая оглянулась и увидела приближающегося Аврама. По случаю теплой погоды был он в клетчатой рубашке, в голубых с широкими, нарочито грубыми швами брюках под названием «техасы» и в плетенных из ремешков коричневых сандалетах.

— Привет героям труда,— улыбнулся он.— Зашел в свинарник — пусто, в дежурке — тоже. ну, думаю, значит, все ушли на фронт...

Тая усмехнулась, встала, поправила волосы.

Аврам подошел к колодцу, напился из полной бадьи, присел на угол сруба.

— Хороша здесь вода. В городе не такая, ржавым железом отдает и хлоркой.

— Не знаю, для меня — вода обыкновенная,— сказала Тая.

— Конечно, для тебя вода как вода — ведь все познается в сравнении. Хотя не все. Твои глаза, например, ни с чем нельзя сравнить.

— Ой, и язык же у тебя, Аврам,— без костей,— засмеялась Тая, и на матовых щечках ее проступил легкий румянец.— Это, наверное, оттого, что ты образованный. Долго тебе еще учиться?

— Год остался. А потом: «Прощай, любимый город...» Навечно в деревню. Может быть, даже сюда, в Табор, приеду.

— Вкусную воду пить?

— Ага. И с красивыми свинарками общаться. Ты к тому времени станешь настоящей невестой, вот я на тебе и женюсь. Да,— спохватился Аврам, поднимаясь и как бы по расеянности обнимая Таю правой рукой за плечи,— есть одно рацпредложение, пошли в свинарник.

Девушка вывернулась из-под его руки, лукаво сверкнула глазами:

— Когда ты собираешься на мне жениться? Через год? А обращаешься со мной так, словно завтра свадьба.



— Один — ноль в твою пользу,— сказал Аврам и вздохнул протяжно.— Но что же делать, если ты притягиваешь меня, как магнит.

— Ну ладно, какое у тебя рацпредложение?

Они вошли в свинарник. Одни животные, насытившись, лежали на соломенных подстилках, изредка похрюкивали, другие все еще тыкались пятачками в дно корытца, надеясь обнаружить что-нибудь съедобное, третьи терлись боками о столбы.

— Обрати внимание, как здесь светло,— сказал Аврам.— И смотри: больше половины свиней у тебя на ногах.

— Ну и что?

— Плохо. Я вот вчера вычитал в газете: помещение для свиней, поставленных на откорм, должно быть темным. Как думаешь, для чего?

— Чтобы грязи не видно было, да?

Линьков ухмыльнулся, легонько хлопнул Таю по плечу:

— С тобой не заскучаешь — ты остроумный парень.

Тая стряхнула его руку с плеча.

— Ну, а зачем же все-таки нужна свиньям темнота?

— Затем, что в темноте они спят, а не топчутся, как вот эти, и, значит, дают больше привеса. Корытца с водой тоже надо перенести в свинарник, чтобы свиньи меньше двигались...

— Корытца эти неподъемные — переносить-то...

— Ничего, выход найдем. Все ясно?

— Все.

— Умница.

Аврам погладил девушку по волнистым волосам.

— Ой и сладкий же у тебя язык, будто медом помазан,— засмеялась Тая, и в глазах ее заметались озорные бесенята.

У Аврама сердце совсем растаяло. Схватил Таю за руки и закружил ее, напевая на мотив старого фокстротика:

Тая, Таюша, Таисья моя,
Помнишь ли
Знойное
Лето
Это?..

— Ой, Иван! — Тая вырвала руки и отскочила в сторону.

— Здравствуйте. Здесь что?

Перед Линьковым стоял плотный парень в военной форме без погон, с черной повязкой на глазу, словно у адмирала Нельсона.

— Здесь? — холодно переспросил Аврам — дернуло же человека войти не вовремя.— По-моему, ясно: свиноферма.

— А я думал — клуб, а вы — заведующий худчастью,— обезоруживающе улыбнулся Иван, в армии хорошо постигший искусство безобидного балагурства.

— Нет, я главный зоотехник.

— Значит, мне наврали.

— Про что?

— Да про то, будто в колхозе не то что главного, а и простого-то зоотехника нет.

— Ну, я, положим, практикант, студент сельхозвуза,— нахмурился Линьков.— А вы кто?

— Эх, Линкольн, Линкольн, школьных товарищей не узнаешь! Калашников я, Иван.

У Аврама брови поползли на лоб.

— Иван? А я и не узнал. Что с глазом-то?

— Я думал, уж всему селу про мой глаз известно...

— Вчера целый день в Ста Родниках был...

Стоя в сторонке и не вникая в их разговор, Тая посматривала на Ивана с отчуждением. В душе опять поднялось чувство обиды. До отъезда в армию, тоже вот, что и Аврам, руки пожимал, говорил со смешком: вот, мол, вернусь,— и невеста готовая. В плечах раздался, заматерел, теперь и невеста не нужна, другую нашел... «У-у, ненавижу таких»...

Иван вдруг обратил свой взгляд на девушку и шагнул к ней, улыбаясь и протягивая руку.

— Здравствуй, старая подружка. Сколько лет, сколько зим...

Что-то случилось с девичьим сердцем. Оно потянулось навстречу, и уже не было обиды, а была только теплота товарищества, сочувствие, которое следовало скрыть... Дрогнули губы в ответной улыбке, улыбка становилась все шире, шире, и вот уже затуманились глаза от избытка теплого чувства. Тая протянула руку, и она утонула в широкой мощной ладони Ивана.

— Здравствуй, Ваня. Женишься, говорят. Поздравляю.

— Спасибо.

Иван огляделся вокруг.

— А знаете, друзья, я ведь сюда пришел не на экскурсию, а на работу. Назначен механиком на ферму.— Метнул на Аврама веселый взгляд.— Не главным, конечно. Тут, говорил мне Яснов, колодезный насос надо поставить... С него хочу начать свою колхозную карьеру.

— Придется начать с переноски грузов,— не без ехидства возразил Аврам.

— Каких грузов?

— Корытца с водой надо перенести с улицы, товарищ механик. А ни электрокара, ни подъемного крана ты пока еще в эксплуатацию не ввел. Так что придется пустить в ход две наших человечьи силы.

— Ну что ж, начнем с двух человечьих сил,— покладисто согласился Иван.— Где твои корытца? Показывай.

Глава двенадцатая

Наступило лето. Зацвела рожь. Проходили чередою малые и большие события. Малое — свадьба Ивана и Ларисы. Малое не потому, что скромная была свадьба, а потому, что дело это касалось только двоих. Большое — совместное заседание правления и партбюро. Его решения поворачивали жизнь села на новую дорогу.

Санькка жила в родительском доме. С Макаром поговорить начистоту так и не удалось. Все случая не выпадало. А по собственному почину такой случай устроить Санькке гордость мешала. Ждала, когда Макар сделает первый шаг. А тому вздохнуть было некогда — подготовка к строительству кирпичного завода, фермы, партийная работа, десятки других вопросов, которые возникают в колхозе каждодневно и требуют немедленного решения.

Все это Санькка понимала, и все же ей казалось, что Макар мог бы найти время и для нее. А он не находил.

Живя у родителей, Санькка отдыхала душой. Здесь царили мир и согласие. Правда, отец иной раз выпивал, но понемногу, не так, как в былые времена, и спокойствия в доме не нарушал. Вспоминая жизнь с Пруххой, Санькка диву давалась: неужели все это происходило с нею? Теперь ей представлялся странным и необъяснимым тот факт, что она прожила с Пруххой пять лет. Но еще более странным было то, что эти пять лет не оста-

вили в душе почти никакого следа,— ей казалось, будто она и не уходила из родительского дома. После того как ушла, она видела Прухху всего раза два, да и то издали. Прухха чуть заметно прихрамывал — видно, не на шутку сбедил ногу. Раза два в отсутствие Санькки он заходил к ее матери. О чем шел у них разговор, мать помалкивала. Только проронила однажды:

— Совсем ты его, сердешного, замучила.

— Замучаешь его,— усмехнулась Санькка в ответ.— Он сам кого хочешь замучает.

Постепенно ее острая неприязнь к Пруххе сгладилась, иногда она даже испытывала к нему чувство жалости.

С того дня, как повредил ногу, Прухха на работе не появлялся. И однажды вечером Санькка отправилась к нему. Ведь он был не только ее мужем, но и членом ее бригады. А сейчас в поле каждая пара рук дорога.

Она думала, что найдет в избе хаос и запустение, но ничего здесь не изменилось — Прухха поддерживал порядок. Чисто вымытые полы еще источали запах влаги, перед дверью лежала мокрая тряпка для вытирания ног.

Все же, приглядевшись, Санькка заметила, что опустел угол в изголовье дивана — исчез радиоприемник. Прухха, проследив ее взгляд, сказал:

— Продал. Григорию Гаврилычу, учителю. По своей цене купил.

— Твоя воля,— безразлично отозвалась Санькка.

— Проходи, чего ж стоишь... как чужая,— засуетился вдруг Прухха и начал неизвестно зачем переставлять с места на место стулья.

Санькка поняла: обрадовался, что она не стала выговаривать ему за радиоприемник.

— Я к тебе по делу.— Санькка ногою решительно подвинула к себе стул и уселась на него.— Завтра начинаем ремонт тока за Репейным логом... Как у тебя с ногой-то?

Прухха помялся, по лицу размазалась жалкая ухмылка.

— Ха... «с ногой»?.. Кабы ты жила со мною, так небось давно бы поправилась...— Но, заметив, как сразу построжало лицо Санькки, перестал улыбаться, торопливо проговорил: — Зажила нога, зажила... Выйду завтра. Что захватить-то с собой?

— Лопату и вилы. Крышу ветром сорвало, пере-

крыть придется. Народ соберется к семи, у пожарки. Старшим — Тимэр Сармаской. Не опаздывай смотри.

— Ладно.

— А если нога не позволит как следует работать, назначим тебя сторожем на току.

— Ладно, я не против...— Опять дрогнули губы Прухxи, заалели скулы, и глаза неуправляемо завиляли из стороны в сторону.— Санькка, а может... э... вернешься?

— Кошки что-то не видать,— оглядываясь, перебила его Санькка.

— Осточертела она мне. На стол лезет, на кровать...

— Убежала, что ли? Небось не кормил?

— Накормишь ее. Ростом чуть не с собаку, больше меня съедала, а проку никакого... Отнес, в общем, Купцову. Он тут же и шкуру содрал. Он их сдает в городе. Санькка вскочила со стула, лицо ее заметно побледнело, в глазах проступили боль, отвращение.

— Негодяй! Как у тебя рука поднялась?

— Ну вот, ругаться пошла...— сник Прухха.— Я, что ли, ее убивал? Дед Мигиш.

— А тебе неужели не жалко было?

— Ну...— Прухха махнул рукой и отвернулся: не тебе, мол, говорить, ты вон человека не жалеешь.

— Дурак,— сказала Санькка.— Дурак. Когда-нибудь заплатишь за свою дурость непомерную цену. У тебя душа-то хоть есть? Вот говоришь: вернись. А ведь я эту кошку вынянчила, вырастила. Вспомнил ты обо мне, когда поволок ее к Купцову?

Прухха смущенно поскреб в затылке. Верно, кошка — приобретение Саньккино. В прошлом году в жнивье нашла она крохотного котенка. Видно, хозяева сначала решили оставить его у себя, а потом раздумали и занесли в поле. От долгого писка котенок совсем охрип, он едва держался на ногах, его качало из стороны в сторону, как былинку от ветра, глаза и ноздри были забиты пылью. Санькка принесла его домой, вычистила и накормила.

Наевшись и отдохнув, котенок начал играть, начисто забыв о недавних невзгодах. Когда Санькка бывала дома, котенок на шаг от нее не отходил, так и терся около ног, а стоило хозяйке сесть — тут же устраивался у нее на коленях. Лишь только Санькка ложилась спать, котенок становился перед кроватью, вскочить на которую еще не хватало сил, и начинал протяжно мяукать. И мяукал до тех пор, пока Санькка не брала его к себе. Пригревшись,

он умиротворенно вздыхал, как наплакавшийся ребенок.

Котенок превратился в красивую кошку. Если Санькка давала ей из своих рук мясо, кошка брала его деликатно, без грубой жадности, но уж зато получив, удалялась в угол и там, вволю урча и огрызаясь, съедала его. А потом пытливо заглядывала в глаза хозяйке — не найдется ли еще кусочка? — и начинала истово «намывать гостей»...

— На стол лазила, на кровать,— забормотал было опять Прухха, но Санькка не стала его слушать, круто повернулась и ушла.

Полнясь гневом, шагала она по улице и вдруг почувствовала странное головокружение, тошноту. Гнев сразу сошел на нет. Подумала: «Совсем забыла — я же в положении. И волноваться, переживать мне вредно». Позавчера, после совместного заседания правления и партбюро Санькка вот так же разволновалась, Макар мимоходом сказал ей: «Береги себя, будь спокойнее. Когда женщина слишком волнуется, у нее, говорят, грудное молоко пропадает».

Вспомнив сейчас его слова, Санькка невольно ощупала груди — налились, стали упругими. «Ничего: рожу, выкормлю, выращу». Горько улыбнулась: советы дает, а встретиться наедине, поговорить — на это у него времени нет. Завтра с утра в город поедет. В «Гипросельстрой». Тут и упрекнуть нельзя — надо ехать. На позавчерашнем заседании правления и партбюро такие горизонты открылись для Табора, что дух захватывает.

Секретарь райкома Фомин привез на заседание руководителей стройуправления, возводящего сахарный завод. Те привезли с собою план будущего завода и рабочего поселка при нем. Поселок примкнет к Табору. В нем будет построена средняя школа, просторный Дом культуры, два больших магазина, детские ясли, детский сад, столовая. Учреждения эти спроектированы с расчетом на то, чтобы удовлетворять также и потребности таборцев.

Проектировщики предусмотрели строительство в поселке нескольких двух- и трехэтажных домов, а также водопровода. Но пока здания и нитка водопровода не были привязаны к определенному месту. Чтобы сделать такую «привязку», проектировщики должны иметь перед глазами план перестройки села. Иначе впоследствии несогласованность может стать источником всяческих неурядиц и неудобств.

Мирон Платоныч поначалу выразил несогласие с планом,— под поселок приходилось отдавать залежь. Но выгоды от поселка были столь бесспорны и велики, что возражения председателя повисли в воздухе — никто из членов правления его не поддержал. Да и сам он, поостыв и прикинув в уме, какие деньги сэкономит колхоз, получив готовые школу, магазины, детские ясли и Дом культуры, деньги, которые можно пустить на строительство кирпичного завода, расширение и механизацию скотоводческих ферм, одобрил проект.

Строители попросили колхозников поторопиться с составлением плана реконструкции села, чтобы не чинить задержки. Их поддержал и Фомин.

— Советую, товарищи колхозники, немедленно заняться этим делом,— сказал он и, хитровато щурясь, оглядел присутствующих.— А то, чего доброго, строители попросят проектировщиков перенести поселок поближе к Ста Родникам или к Ольховому Озеру. Стрельцов такой подарок с руками отхватит.

— Ну, Стрельцов прежде от нас по рукам получит,— азартно сказал Мирон Платоныч, вспомнив про удобрения, вывезенные ольховозерцами с территории таборского колхоза.

Тотчас решили командировать Яснова в «Гипросельстрой».

Завтра он уедет. Долго ли там пробудет — неизвестно. Все зависит от того, скоро ли договорится насчет присылки в село проектировщика. Санькке почему-то думалось, что дело это долгое, и сейчас ей стало грустно: привыкла видеться с Макаром ежедневно, хотя бы и на людях.

В избе никого не было. Мать, верно, доила корову. Санькка вышла в сени, из хлева доносилось цвирканье молока о подойник. Санькка постояла, прислушиваясь к этим умиротворяющим звукам.

Еще не так давно город целиком тяготел к Волге. С внешним миром его связывала река. Потом подвели железную дорогу. Но не дотянули ее до города. Между станцией и окраинными домами километра на три-четыре раскинулся пустырь, изрытый глубокими глиняными карьерами. Лет десять назад город начал наступать на пустырь. И вот, сойдя с поезда, Яснов не увидел вокруг

былого запустения. От станции к старому центру города, к волжской набережной с ее обширным речным портом вела широкая асфальтированная улица, застроенная пятиэтажными домами, обсаженная пышными липами. Теперь уже не надо было месить грязь вдоль булыжной дороги — до старого центра Яснов доехал на троллейбусе. Дорога шла под гору, из окон троллейбуса на поворотах открывался вид на заволжские кудряво-зеленые лесные дали.

До открытия учреждений оставалось еще больше часа, и, чтобы как-то скоротать время, Яснов зашел в парк. Ночью был дождь, на листьях, на траве серебрилась влага, стволы кленов стояли черные, и от их промокшей коры исходил пресный запах. А может быть, так пахла молодая, омытая дождем листва? Яснов подумал, что если бы этот запах можно было почувствовать на ощупь, то он должен бы оставить впечатление клейкости и прохлады, как тополиные почки в апреле.

Парк считался еще молодым, ему только-только исполнилось двадцать пять. Раньше здесь находился грязный пустырь. Однажды пришли комсомольцы с лопатами. Они пели:

Дан приказ: ему на запад,
Ей в другую сторону...

Разровняли пустырь, посадили деревья, разбили парк. Среди тех комсомольцев был и Яснов. Тогда и не думалось, что тощие саженцы со временем превратятся в пышные тенистые деревья. Невероятно далеким казалось то время. А оно пришло. Девушки и парни, сажавшие некогда тоненькие, как прутики, клены, тополя, ивы, давно разменяли пятый десяток. Многие полегли на войне. Деревья стали взрослыми. А песня «Дан приказ: ему на запад...» звучала здесь будто вчера...

Через парк Яснов вышел к бетонному мосту, переброшенному через овраг. Рядом тянулся тряский деревянный мостик для пешеходов. Дойдя до середины, Яснов остановился, заглянул вниз. По дну оврага протекала грязная речушка. Вдоль берегов валялся всякий хлам, занесенный сюда половодьем. У самого уреза воды лежала какая-то серая тушка. Приглядевшись, Яснов понял, что это дохлый гусь. Если отвлечься от бетонной эстакады, то овраг с его мусором и дохлым гусем можно было считать остатком довоенного, нет, даже, пожалуй,

дореволюционного города, чудом уцелевшего до наших дней.

Из-под моста показался человек с этюдником через плечо. На нем был потертый серый костюм, кирзовые сапоги и синий выцветший берет. Человек немного прошел по дну оврага и по тропинке начал взбираться вверх. «Художник»,— подумал Яснов, и тут сердце его радостно ворохнулось: да ведь это Васьлей Андреев, старый друг! Похудел и ростом будто меньше стал...

Берегом оврага Яснов пробежал до того места, где снизу выходила тропа, и тут столкнулся с Васьлеем. Тот раскинул руки:

— Ба! Да уж не таборский ли передо мною чувашин?

— Здравствуй, дружище! — Яснов протянул руку.— Что это ты делал под мостом? Уж не раков ли ловил?

— Ловить — ловил, только не раков, а солнце.

— Солнце? — Яснов озадаченно взглянул на небо, потом в овраг.— Какое там можно поймать солнце, в этом прогнившем овраге?

— Эх, когда только вы научитесь понимать искусство? — с искренней досадой сказал Андреев, и на худощавом его лице появилось такое горькое выражение, словно он только что похоронил кого-то из близких. Яснову стало неловко, он понял, что нечаянно попал в больное место, и обращение во множественном числе,— «когда только вы»,— относилось не к нему, а и к другим людям, скорее всего, к творческим противникам художника.

— Ну, хорошо,— через минуту успокоившись, сказал Андреев.— Пойдем покажу, а то что ты там у себя в деревне видишь?

— Вот правильно, познакомь нас, темных людей, с культурой,— не удержался от иронии Яснов.

— Эким ты стал скептиком,— засмеялся Васьлей и чувствительно хлопнул старого приятеля по спине.

Они зашли в парк, сели на скамейку. Андреев достал из этюдника папку, раскрыл ее, протянул Яснову лист плотной бумаги. На первом плане был изображен овраг, довольно глубокий, потому что стены его уходили далеко вверх. О, знакомый овраг, вон и серый комочек, видимо, дохлый гусь.

Этюд был хорош. Только-только рассвело. Отчетливо различить можно лишь предметы, находящиеся на первом плане. Вдали темная полоса бетонной эстакады. Она делит надвое церковь, возвышающуюся где-то в конце

оврага. Нижняя часть церкви едва очерчена, она скрывается еще в предутреннем мраке. Верхняя часть четко вырисовывается на фоне утреннего палево-голубоватого неба, первые лучи солнца позолотили купола. Слева — склон волжского берега, дома, деревья, размытая расстоянием радиомачта, также отмеченная солнечными бликами.

В этюде, несмотря на то, что большая его часть была занята мусорным оврагом, чувствовался простор, воздух, свет — словом, большое техническое мастерство.

— Хорошо сделано,— сказал Яснов.

— Тут еще многое не закончено. Вот в этой грязной воде надо отразить снежно-белые облака.

— Сделано хорошо... И все же, Васьлей,— Яснов пожал плечами,— почему овраг, почему дохлый гусь? Вообще: почему на мир, на солнце надо смотреть из провонявшей ямы?

Андреев молчал, видимо, подыскивая для возражения нужные слова.

— Ты рассуждаешь как профан,— сказал наконец он.— Для меня важно не райский пейзаж написать, здесь вообще не в пейзаже дело. Для меня важно решить трудную задачу. Мне интересно решать трудные задачи, и я их ставлю перед собою. Вот говорят: свой локоток не укусишь. А я мечтаю укусить и стремлюсь к этому. Потому что я мастер, мастер... И убежден: нет мастера, который не стремился бы совершить невозможное. Увидит мой этюд художник и поймет. А может, и позавидует. Он знает, как трудно бывает добиться того, чего, к примеру, добился я.

— Насчет трудности — это верно. Чего стоит спуститься в эту клоаку и подняться...

— Ты не смейся.

— Да не смеюсь я, Васьлей! — воскликнул Яснов, взволнованный, встал со скамейки, прошел шага три, вернулся.— Не смеюсь, пойми ты! Можно, конечно, задавать себе и решать трудные технические задачи... Но голая техника, пусть даже очень совершенная техника,— это еще не искусство...

— Давай, давай, открывай Америку: это формалистические выкрутасы, это...

— Стоп, стоп, Васьлей. Ни слова... Я понимаю: ты лучше меня знаешь, что бы я мог по данному поводу сказать. Но ответь. Почему ты не занимаешься искусст-

вом, оно же не отвергает трудных задач? Отчего это обмеление души, эти никчемные овраги?

Андреев, не отвечая, укладывал папку в этюдник. Лицо у него было обиженное.

— Ну, ладно, спрошу что полегче. Как живешь? Что у тебя с Сюзанной?

— Вопрос действительно не из сложных,— нервно усмехнулся Андреев.— С Сюзанной разошлись окончательно. Не выдержал я, убежал в чем был, а квартиру ей оставил. Теперь живу в Доме художников. Может, зайдешь? Я сейчас домой иду, буду работать.

— Непременно зайду, Васьлей, только попозже. Я ведь здесь по делу.

— Небось комбикорм выбиваешь?

— Да нет,— улыбнулся Яснов.— Корма в конце зимы выбивают. Тоже вот рассуждаешь как профан.

Посмеялись.

— Так я тебя жду,— сказал Андреев и, повесив на плечо этюдник, зашагал к выходу из парка.

В контору «Гипросельстроя» Яснов явился к началу занятий. Поток сотрудников еще не иссяк, подходили опоздавшие. Яснов сел в вестибюле, закурил. Решил подождать, пока учреждение войдет в рабочий ритм.

В вестибюле появились две женщины, поздоровались с вахтером. Одна начала подниматься по лестнице, другая, лишь только взгляд ее упал на Яснова, замедлила шаги. Он почувствовал себя неловко, но тут, словно окошечко открывалось в памяти, и в лице женщины, еще секунду назад казавшимся чужим, начали проступать знакомые черты. Неужели? Дочь Григория Гавриловича Таранова, любимого преподавателя из совпартшколы?.. Пополнела. Но те же ясные серые глаза, смугловатая кожа...

Яснов встал, торопливо бросил в урну папиросу. Женщина тихо улыбнулась, подошла.

— Вы... Макар Яснов?

— А вы... Вера Таранова?

Обменялись рукопожатием и потом с минуту молчали, не зная о чем говорить. Слишком много можно было бы рассказать друг другу — ведь они не виделись двадцать пять лет.

Макар улыбнулся,— вспомнил, что когда-то был неравнодушен к Верочке. Она, словно поняв его, ответила мягкой усмешкой.

— Вы к нам по делу? Я ведь здесь работаю.

Яснов коротко поведал о цели своего приезда.

— Так вам нужно в первую очередь ко мне,— сказала Вера Григорьевна.— Правда, у меня с завтрашнего дня отпуск, но, думаю, с вашими делами управимся.

Она привела Яснова к себе в кабинет, усадила в кресло и пошли воспоминания. О том, что Таранов в конце войны, уже вернувшись с фронта, умер от ран, Макару было известно. Мать пережила его ненамного. Вера уехала к родственнику в Горький, поступила в институт, стала инженером. Вышла замуж, но неудачно, развелась, оставшись с ребенком на руках.

— Теперь все прошло и быльем поросло,— грустно улыбнулась Вера Григорьевна.— Сын вырос, женился, и я скоро стану бабушкой.

Затем настала очередь Яснова рассказать о себе. Но что тут было рассказывать. После той памятной отсидки уехал в Сибирь, работал там в совхозе. Потом — фронт. Потом — родной Табор.

— А вы знаете, что случилось с соседом, из-за которого вы попали под следствие? — проговорила Вера Григорьевна.— Погиб под Москвой в сорок первом.

— Могли бы там встретиться,— сказал Яснов.

Установилось молчание. Яснов забеспокоился, спросил:

— Не отрываю ли я вас от дела?

— Нет-нет, Макар Макарыч. Просто мне в голову пришла любопытная комбинация — кажется, я смогу вам помочь. Но сперва надо посоветоваться с начальством. Пойдемте-ка вместе.

Когда полчаса спустя Яснов вышел от начальника, ему впору было ущипнуть себя — не есть ли все это сон,— так быстро и ловко, а главное, конечно, быстро, даже без необходимой волокиты устроилось его дело. И все — Вера Григорьевна. Вот уж, действительно, в отца уродилась. Пришла и заявила своему начальнику: «У меня отпуск. Его лучше провести в селе, чем в городе. Такое село есть — Табор. Но Табору нужен проект новой застройки. Поскольку для проекта необходимо подготовить материалы, то, чтобы потом не посылать специально человека, этим делом займусь я».— «А как же все-таки с отпуском?» — не понял начальник. «Работа в деревне для меня и будет отпуском»,— разжевала ему Вера Григорьевна. «Согласен,— развеселился начальник.— Ко-

нечно, при условии, что вы потом не обвините меня в нарушении закона о труде».

Веру Григорьевну Яснов дождался в коридоре.

— Святое дело — знакомство,— сказала она, смеясь.— Мы могли бы выехать через час — мне собраться недолго. Пойдемте ко мне, пообедаем и...

— Я должен немного задержаться, Вера Григорьевна. Мне надо зайти в Дом художника. Давайте вместе и зайдем. Вы ведь знаете Васьлея Андреева, он когда-то вместе со мною бывал у вас.

— В лицо не помню, но фамилия знакомая. Художник. Что-то давно о нем не слышно.

— Да. Понимаете, беспокоит он меня. Устал, что ли... Да и личная жизнь коряво сложилась. Хочу увезти его в Табор. Уверен: надо ему сменить обстановку, побыть среди простых, трудовых, рабочих людей.

— Что ж, человек он, видимо, интересный. С удовольствием составлю вам компанию, если, конечно, это удобно.

— Я думаю — удобно.

Только когда они вошли в комнату художника, Яснов понял, что ошибся в таком своем предположении. Андреев, успевший отвыкнуть от женского общества, а заодно— от порядка и опрятности, предстал перед ними в перепачканном красками халате и не знал куда глаза девать. Забыв поздороваться, метнулся к кровати, прикрыл ее одеялом, задернул занавеску, что отделяла спальню от комнаты, пинком загнал куда-то в угол ночные тапочки, накрыл газетой груды объедков и немытой посуды, живописно разложенные на столе, из лабиринта подрамников, загрунтованных холстов, готовых картин, добыл табуретку и, услужливо смахнув с нее пыль рукавом, поставил перед гостьей. При этом бросил на Яснова красноречивый взгляд: «Угораздило же тебя женщину в мою берлогу привести...»

Потом Андреев вымыл руки, снял халат и познакомился с Верой Григорьевной. Услышав ее фамилию, сказал:

— Макар усвоил привычку знакомить нас каждые двадцать пять лет.

— Он же,— подхватил живо Яснов,—усвоил привычку раз в два года приглашать тебя к себе в гости, в деревню и в том не преуспел. А посему давай собирайся,

поедешь с нами в Табор. Вера Григорьевна согласилась поработать над проектом реконструкции села.

— Художник в этом деле был бы не лишним человеком,— добавила Таранова.

На столь неожиданное предложение Андреев не сразу нашелся что ответить. Подошел к окну, взял сигарету — они в беспорядке были разбросаны по подоконнику,— попросил у гостьи разрешения закурить, а закурив, сказал:

— Сейчас не могу, Макар. А за приглашение спасибо.

— Почему не можешь? — не отступал от своего Яснов.

— У меня много начатых работ, их надо закончить.

— И он.

— Это овраг-то?

— Закончишь потом. Глядишь, изменится настроение, точка зрения — ан, и выкарабкаешься из оврага-то.

Несколько раз подряд глубоко затянувшись, Андреев бросил сигарету в пепельницу. Затем попросил Яснова выйти вместе с ним в коридор, любезно извинившись перед гостьей за то, что ей придется побыть одной.

— Понимаешь, может, я и поехал бы,— сказал он, очутившись с Ясновым наедине,— но у меня... нет денег. Чистого белья тоже нет. Да и костюм только тот, что на мне. Пара хороших осталась у Сюзанны...

— Ей богу, Васьлей, ты как ребенок,— покачал головой Яснов.— «Белье, костюм...» Белье сами выстираем и сами погладим. А костюм... Носить выходной костюм в деревне, в страдную пору — это курам на смех. Деньги тоже не проблема — заработаешь.

— Ну, что ж, коли так — едем.

— Едем! — как эхо, повторил Яснов, когда они вошли в комнату.

Вера Григорьевна обрадованно закивала — художник, этот стеснительный и, видимо, углубленный в себя человек, становился ей симпатичен.

Андреев сразу начал готовиться к отъезду. Незаконченные картины на подставках покрыл газетами, чтобы не запылились. Такая аккуратность понравилась Яснову — значит, Васьлей ценит свое искусство, относится к нему серьезно, с любовью.

Одно из полотен Андреев повернул лицевой стороной к гостям. Это был портрет старой женщины. Повязанная по-крестьянски пестрым платком, из-под которого выбивались седые пряди, она казалась совершенно живою.

Впечатление такое создавали мастерски написанные морщины, цвет кожи, а главное — глаза. Синие, по-молодому чистые и умные глаза. Их выражение печально, в них горечь, и боль, и жалость... Будто кто-то обидел ее, а она смотрит на своего обидчика и, жалея, спрашивает: «Как ты теперь будешь жить с нечистой совестью, бедный человек?»

Заметив, что портрет привлек внимание гостей, Андреев сказал:

— Моя мать.

— Написано прямо с нее? — спросила Таранова.

— По памяти. Ее двенадцатый год нет в живых.

— Хороший портрет.

Андреев кивнул, то ли выражая признательность, то ли соглашаясь с оценкой.

— Никак не могу дописать. Часто глаза ей менять приходится. Когда у меня настроение хорошее — и она смотрит на меня весело. А как скверно мне — и она печалится. Вернусь из деревни — допишу.

— Тогда, думаю, и взгляд у нее изменится,— сказал Яснов.

— Возможно.— Андреев прикрыл портрет пестрым платком, проговорил: — Ее платок. Храню вот...

И верно, на портрете мать была в том же платке.

«Квартиру, мебель, костюмы не уберег, а платок матери бережет»,— подумал Яснов и почему-то рассердился на себя, вспомнив, как насмешливо и резко разговаривал с Васьлеем сегодня утром.

До Табора ехали на такси. Яснов с увлечением рассказывал спутникам о своем крае. Андреева заинтересовали названия сел, и Яснов объяснил, что вокруг села Сто Родников действительно множество родников, Ольховое Озеро названо по озеру Ольховому; есть еще село Березы-до-небес — там, говорят, когда-то шумела березовая роща, стволы неохватные, высокие — от них и пошло название села.

Немного было таких светлых, радостных часов в жизни Яснова, как эти два часа, проведенные в дороге. Он возвращался, выполнив и даже перевыполнив сверх всяких ожиданий поручение партбюро и правления. Рядом с ним сидел друг, который определенно нуждался в его участии. Нет, не иссяк, жив еще и дает о себе знать в полную силу отцовский инстинкт покровительства, за-

щиты более слабого, инстинкт, который ощутил в себе Яснов еще в молодости. Вот только на Санькку инстинкт этот почему-то не распространяется. Характер у нее сильный — наверное, потому. Ну, ничего, он перенесет свою жажду покровительства на ребенка...

В Таборе первую остановку сделали перед домом Агафонова — чем черт не шутит, может, как раз дома Мирон Платоныч. На шум машины выбежала из избы Велиме Ивановна. Она сказала, что мужа дома нет, вроде бы с утра с женой Ивана Калашникова на Лысую гору поехал, где кирпичный завод начинают. Узнав, кто такая приехавшая с Ясновым женщина, Велиме Ивановна решительно сказала:

— Нечего, голубушка, тебе по селу мыкаться, жилье искать, оставайся у нас. Хоть живого человека буду видеть, а то сам лытает целыми днями бог весть где, Марись на ферме с утра до ночи — словом не с кем перекинуться. Пойдемте-ка, возьмем вещи.— Она подошла к машине.— Макарушка, достань-ка.

— Да ведь стесню, пожалуй, я вас,— не зная, как и реагировать на такое гостеприимство, смущенно проговорила Вера Григорьевна.

— А ты не сказывай, чего не следует, дом-ат, видишь,— как рига,— успокоила Велиме Ивановна.— Да и не чужая, чай, ты нам...

Таранова вопросительно взглянула на Яснова. Он засмеялся:

— Не удивляйтесь, для Велиме Ивановны чужих людей вообще нет.

— А что ж, конечно,— подтвердила старушка.—Все сыновья да дочери людские... А вы заходите, заходите в избу. И ты, милый, зайди,— обратилась она к шоферу такси.— Отдохни, кваску испей, поешь хорошенько,— голодный, чай...

Не отозваться на такое искреннее радушие было никак невозможно. Приехавшие, в том числе и шофер, зашли в избу.

Глава тринадцатая

С утра Марись заметила, что подружка ее чем-то опечалена. Улыбается нехотя, часто задумывается, смотрит в одну точку, и меж бровей ложится чуть заметная складочка.

— Раньше времени постареешь, агам, если будешь хмуриться,— шутливо заметила Марись.

— Хорошо бы,— отозвалась Тая. Марись удивило то, что голос ее прозвучал угрюмо, не слышно было в нем обычной мягкой смешливости.

Марись пыталась узнать, что стряслось с подругой, но та отмалчивалась. На ужин она не пошла. Марись принесла ей из дома кринку молока и пирог, но сколько ни потчевала, Тая отказалась от еды.

Задав свиньям корму, девушки присели в дежурке отдохнуть. За окном спустились поздние летние сумерки. Около клуба Енчиков уже играл на баяне. Огня не зажигали, в полумраке было уютней.

— Споем, Тая,— предложила Марись.— Потихонечку, а?

— Не хочется, агам. Ты пой...

— Господи, сглазили тебя, что ли? — начиная испытывать досаду, сказала Марись.— Хоть бы Аврам пришел, развеселил тебя.

Тая низко опустила голову и сидела так некоторое время неподвижно. И тут Марись услышала всхлипы. Заглянула подруге в лицо — оно было мокрое. Тая уткнулась в ладони, и плечи ее затряслись.

— Что, что с тобою? — затеребила ее Марись, чувствуя, что и сама вот-вот расплачется.

— Никому... никому... никому я не нужна,— сквозь рыдания вырвалось у Таи.

— Почему? Что за ерунда?

— Нет, не ерунда... Я знаю... Я... я уродливая... некрасивая... Потому и Иван... и Аврам... Никто-никто никогда меня... не полюби-ит...

Тая упала на кровать, зарылась в подушку лицом.

В сенях послышались шаги, со скрипом распахнулась дверь. На пороге вырос Якку.

— Всем по тысяче приветов! — сказал он весело и, переступив порог, закрыл за собою дверь.— Что свет не зажигаете? Керосин экономите? Зря, еким-меким. Скоро мы, сахарстроевцы, вам электричества дадим вдоволь.

Якку прошел к столу. Был он в белой рубашке и выходном костюме, еще крепком, но старомодном. Тая перестала плакать, притворилась дремлющей.

— Ну что ты раскричался? — махнула на него рукою Марись.— Не видишь, люди отдыхают...

Она поняла, что Якку пришел пригласить ее к клубу с тем, чтобы потом погулять. Она ждала его прихода, и с утра у нее было радужное настроение именно потому, что знала: вечером придет Якку. Но появился он совершенно не ко времени. Не могла же Марись уйти с ним, бросив подругу в горе. Что у нее опять? Что-то, видно, посерьезнее, чем та смешная история с Иваном Калашниковым.

— Иди, Якку, иди, погуляй,— шепотом проговорила Марись, поворачивая парня к двери и подталкивая в спину.— Через полчаса придешь, нет, лучше через час... Шагай, шагай.

Якку, обескураженный таким приемом (отдыхают, видите ли... Сроду в эту пору не отдыхали, а тут приспичило...), вышел из дежурки и закурил. Увидев под окном пенек, присел на него...

— Что это за чушь ты несла, агам,— никто тебя не полюбит? — услышал Якку голос Марись.

Голос раздавался так явственно, будто Марись находилась рядом. Обернулся — окно было раскрыто.

— Нет, Марись, я знаю, знаю...— Это говорила Тая, говорила надрывно, сквозь слезы.— Иван вообще обо мне не думал, а этому от меня нужно только одно...

Якку стало жарко, будто в парной. Нельзя подслушивать девичьи тайны. Скажут что-нибудь... мало ли... самому станет стыдно. Да и нехорошо, нехорошо... Угораздило же его тут сесть.

— Кому — этому? — спросила Марись.

— Авраму.

Якку приподнялся с пенька, огляделся, выбирая путь для отступления, втянул голову в плечи, пригнулся. Но тут ему пришло на ум, что если Марись услышит шаги или случайно выглянет в окно и увидит его, крадущегося прочь от окна, она наверняка подумает, будто он специально подслушивал. От одной этой мысли его лицо запылало огнем.

— Разве у вас так далеко зашло? — опять спросила Марись.

— Нет. Но... Позавчера, когда ты уходила на ужин, мы с ним... целовались. А потом он... ну в общем... дал волю рукам... И сказал: давай, мол, жить так... Теперь этак принято. А когда я его шуганула, обозвал меня деревенской дурой... И еще говорит: ты, мол, не современ-

ная, не понимаешь духа времени... Много наговорил, а потом ушел...

— Ну и что? Я давно знала, каков он, Аврам. Теперь ты узнала... И стоит из-за этого лить слезы? Ведь ты же ему не поддалась.

— А может, и зря не поддалась...— всхлипнула Тая.— Вчера иду домой, поздно уж, а он навстречу, под руку с Ульгой. А та—у самой ни кожи, ни рожи,—а туда же: хи-хи-хи, ха-ха-ха, тю-тю-тю.— Тая так похоже передразнила толстушку Ульгу, что Марись фыркнула.— А я знаю, почему он со мною так, как с собачонкой,—вдруг трезво, без слез и всхлипываний, проговорила Тая.—Некому за меня заступиться. Нет ни отца, ни брата. Одно слово — сирота...

— Тая, что ты городишь?

Якку не слышал слов Марись. В голове звенело отчаянно безнадежное: «Некому заступиться... Сирота». Миллионы иголок впивались в затылок, в шею, ежик волнения скатывался вниз по позвоночнику, брал в свою колючую горсть сердце, и оно набухало горячим сочувствием и бешеным негодованием.

Он встал и, уже не заботясь о том, что девушки могут его увидеть, пошел к воротам. Выйдя со двора фермы, он ускорил шаг, затем еще прибавил и по улице села уже почти бежал.

На пятачке перед клубом народу было немного. Енчиков отдыхал, покуривал. Якку подсел к нему.

— Линкольна не видел?

— Только-только был здесь с Ульгой. Вроде в сад свернули.

Якку закурил, но тотчас бросил папиросу и направился к саду. Прежде за клубом, бывшим домом попа, действительно располагался обширный сад. Теперь от него остался десяток полузасохших, доживающих свой век старушек-яблонь да несколько кустов ольхи и боярышника.

Якку нашел Аврама в конце сада. Тот стоял под яблоней в обнимку с Ульгой. Услышав шаги, Ульга отшатнулась от него и начала поправлять сбившуюся косынку. Якку стало неловко. И сразу всплыла трезвая мысль: «Зачем ты здесь? Что ты изменишь?» Но тут опять толкнули в сердце, как плач обиженного ребенка, слова: «Заступиться некому... Сирота».

— Аврам, подойди-ка на минутку.

— Кто это? Ты, что ли, Якку?

— Я, я...

Аврам медлил, должно быть, старался угадать, зачем он понадобился Якку так срочно.

— Ну, подойди, слово надо сказать...

— Нашел время,— проворчал Аврам, однако подошел, Ульга спряталась за яблоню.— Ну, говори, да побыстрее.

У Якку мгновенно пересохло во рту, и губы сделались как бумага. Окаменели кулаки, плечи налились силой. Ах, если бы все дело могла решить хорошая затрещина — это было бы так просто...

— Ты... ты зачем обидел Таю?

— Я? — Аврам от изумления приложил руку к груди и подался вперед.— Ты что? Выпил? Или того? — он покрутил пальцем у виска.

— Позавчера ты ей предложил жить с тобою, как какой-нибудь... Начал лапать, а когда она тебя отшила, переметнулся к Ульге. Было такое дело? Было, еким-меким?

Краем глаза Якку различил в темноте, как Ульга метнулась от яблони и, перебежав полянку, скрылась за плетнем.

Аврам ухмыльнулся.

— Забавно. Настоящее кино. Ты вот чего скажи: ты в качестве кого тут? В качестве благородного идальго Дон-Кихота Ламанчского или главы адвокатской конторы Урнекеев и К°?

Аврам так и сочился иронией. И на минуту Якку растерялся, ощутил бессилие, словно все его тело потеряло упругость, сделалось как лапша. Он не умел говорить гладко и легко, как Аврам.

— Ну, что приумолк? Небось самому смешно стало. Тогда привет...

Аврам повернулся было к Якку спиною, но тот крепко взял его за руку и с острым удовольствием ощутил, как гнев его переливается в мышечное усилие.

— Ты что?.. Пусти... Ой! — дернулся Аврам, но Якку держал его запястье будто в наручниках.

Сказал, переведя неслышно дух:

— Подожди. Выслушай сперва. Зря, что ли, я тут ваше с Ульгой свидание расстроил? И не вышучивай ты меня, не остри. Знаю, что умеешь. Дело-то серьезное. Лет сто назад тебя бы брат Таи на дуэль вызвал. Ясно?

А случись такое на Кавказе — шлепнул бы без разговоров, еким-меким...

— Но, во-первых, мы не на Кавказе, во-вторых, живем не в девятнадцатом веке, в-третьих, ты не брат Тан.

— Считай за брата,— с веселой злостью сказал Якку. Он сумел овладеть собой и теперь чувствовал уверенность, как полководец, знающий, что все нити управления боем находятся в его руках.— А ты как думал? Если у девчонки ни отца, ни брата, значит, можно ее оскорблять? Она моя сельчанка, мой товарищ...

— А может, больше, чем товарищ? — вставил Аврам.

— Я же просил: не шути, не время,—почти добродушным увещевающим тоном проговорил Якку.— Ты вот про Дон-Кихота упомянул. Знаем, читали. Только, по-моему, Дон-Кихот — не такой уж был Дон-Кихот. Он копье с собой носил. И так мог этим копьем при случае врезать...

— Грозишь?

— Зачем же? Хочу, чтобы ты исправил ошибку. Завтра, хоть в лепешку разбейся, хоть в ногах у Тан валяйся, хоть просто извинения попроси, но чтобы глаза у нее были сухие и чтобы смеялась она по-прежнему весело. Ясно, еким-меким? Вечером я все узнаю, и если не выполнишь мою просьбу...

— Что тогда? Морду набьешь?

— Ну, зачем же? Ты, чай, не дурак, чтобы до кулачек дело доводить.

— Ну, знаешь. Это слишком,— сказал Аврам, и в голосе его Якку не услышал, как прежде, улыбчивой иронии.— И вообще... Изобразил меня каким-то извергом. А что я ей сделал? Ну, поцеловал раза два. Так она сама разрешила. Ну, говорил там разное. Ну, может, нагрубил немножко. Сирота она не сирота — я же об этом вовсе и не думал. А ты...

— То-то и плохо, что не думал,— перебил Якку.— На другую, может, так бы оно не подействовало, твое хамство-то. А у Тан душа с детства еще не зажила, потому и чувствительна... На меня же, Аврам, зря обижаешься. Я против тебя ничего не имею. Парень ты хороший, работящий. Только что — избалованный. Живешь в городе один, на всем готовом. Учишься. Какие твои заботы? Да и девчата, чай, кругом современные, дух времени понимают... В общем, там как хочешь, но завтра сделай,

что я сказал. А я слово сдержу. Да и Ульгу-то оставь, еким-меким, девчонка ведь еще.

— У меня практика через пару дней кончается, уеду.

— Ну, ну. А как завтра быть — сам думай. Да смотри: о нашем разговоре Тае — ни слова. Пока.

Якку повернулся и пошел к клубу. На бревнах уже никого не было. Тишина плыла над селом.

...Вечером следующего дня, явившись к Марись на ферму, Якку узнал, что Линькова здесь не было—утром уехал в город. Совсем. И конца практики не дождался. Но Тая, вопреки его опасениям, как прежде была весела, счастлива и доброжелательна. Словно и не она вчера рыдала о своей конченой жизни. «Вот и пойми их»,— недоумевал Якку. Он не знал, что в тот час, когда Линьков шагал на станцию, парнишка, сосед Купцовых, принес Тае письмо. Аврам красноречиво раскаивался в «неправильном поведении», вызванном единственно «пылкостью души» и Таиным очарованием, а также заверял в неизменности своего к ней «безмерного уважения» и дружеских чувств.

Промелькнули четыре недели отпуска Веры Григорьевны, «трудового отпуска», как шутил Васьлей, и вот уже в одно солнечное июльское утро Андреев и Яснов проводили ее на станцию. Материалы для проекта были собраны полностью, вчерне набросан и сам проект реконструкции села. Сделать это удалось благодаря помощи Андреева, который последнюю неделю целыми днями проводил за чертежами у Агафоновых,—Вера Григорьевна так и прожила у них до конца отпуска.

Андреев квартировал у Яснова. Жили они коммуной, пищу готовили по очереди, убирались тоже... Правда, каждый из них частенько пропускал свою очередь, и теперь в избе Яснова не осталось и следа того порядка, который когда-то порадовал секретаря райкома Фомина. Андреев, по натуре своей человек дельный и работящий, быстро сблизился со многими колхозниками. Особенно подружился он с Иваном Калашниковым и Тимэром Сармаским. Чтобы не очень стеснять Яснова, Андреев задумал устроить себе мастерскую в бывшем скотном дворе, что стоял позади избы. От помещения остался один сруб. Собственно, идею оборудовать здесь мастерскую подал Тимэр. Втроем они соорудили крышу, покрыли ее соломой, расширили окно, вычистили полы и стены, Тимэр

по чертежу художника соорудил мольберт, несколько подрамников, помог натянуть на них холст.

Когда на Лысой горе начали рыть траншеи под фундамент кирпичного завода и Тимэр перешел работать туда, Андреев сделался его постоянным спутником. Рано утром новый приятель будил художника стуком в окно, Андреев облачался в старый просторный комбинезон, подаренный Тимэром, и они вместе шагали на работу. Как все, Андреев копал землю и таскал ее на носилках. Со стороны он ничем не отличался от колхозников, и когда Тимэр говорил ему об этом, он посмеивался, очень довольный собой. Но и землекопом Андреев работал ради решения творческой задачи. Он задумал изобразить на полотне строительство кирпичного завода, вернее, людей, которые строили. Неожиданно физический труд вступил в противоречие с трудом творческим. Приходя домой с Лысой горы, уставший до последней степени художник валился на кровать и не меньше получаса лежал пластом. Было ему уже не до творчества. Единственное, на что его еще хватало,— это копирование портретов.

Узнав о поселившемся у Яснова художнике, таборские женщины с просьбой «увеличить» понесли ему выцветшие пожелтевшие фотографии мужей и сыновей, что не вернулись с войны. Каждый день после работы Андреев успевал сделать портрет. К удивлению заказчиц, плату он не брал — ни деньгами, ни продуктами. Зато, когда вместо пожелтевших фотографий солдат в пилотках и серых шапках-ушанках таборянки начали приносить свои собственные изображения, Андреев принимать заказы перестал. На землекопской своей карьере он также вскоре поставил крест.

— Нельзя быть одновременно и землекопом и живописцем,— сказал он Тимэру Сармаскому.— Прости, брат, но у меня не получается.

— Это уж кому что дано,— философски изрек Тимэр.

Вместе с Иваном Калашниковым Андреев стал ходить на фермы. Как-то в отсутствие художника заглянув к нему в «мастерскую», Яснов увидел на мольберте почти законченное полотно. Среди ярко освещенного солнцем двора свинофермы стоят Марись и Тая. Девушки секретничают. Тая, сбоку прикрывая ладонью рот, что-то на ушко рассказывает Марись, у которой руки заняты ведрами. Обе девушки, и в первую очередь, конечно, сама рассказчица, вот-вот готовы разразиться веселым смехом. На

заднем плане виден выходящий из ворот парень... Солнце стоит еще невысоко, тень от свинарника пролегла через двор. У ворот художник изобразил высокую стройную березу, очень похожую на ту, что растет у дома Якку. Береза купается в солнечном свете, даже в глубоких тенях, в их темной зелени видны золотистые блики...

«Молодец,— искренне порадовался за друга Яснов.— Характеры очень выразительны, да и схвачены точно. Особенно Тая. А свет? Просто зажмуриться хочется, так и пышет солнечным теплом... Вот тут уж действительно «поймал солнце».

Удивила Яснова и способность Андреева работать быстро. Картины «Молодые свинарки», как про себя назвал ее Яснов, еще два дня назад и в помине не было. В тот же день Яснов похлопотал о том, чтобы Андрееву выписали деньги за полмесяца работы на Лысой горе. Зная, что в контору за ними он не пойдет, Яснов попросил получить деньги Тимэра Сармаского и оставить у художника в мастерской на столе. Что тот и сделал.

Закончив картину «Молодые свинарки», Андреев потерял интерес к фермам и стал пропадать в полях. Теперь он не расставался с альбомом. Вскоре в альбоме появились изображения Мирона Платоныча, Микиты Каткова, Санькки. Яснов, увидев эти эскизы, спросил друга, не собирается ли он писать портреты, если так, то не сделает ли копию с портрета Санькки?..

— Не горюй, сделаем портрет твоей Санькки,—улыбнулся Андреев.— Но эти эскизы нужны мне для другого. Хочу написать большую картину. Чтобы хлеб был и люди, возделавшие его. Чтобы скупо, лаконично и мощно...— Он болезненно поморщился, потер грудь.— Бродит, бродит что-то. А что выйдет — не знаю.

Контора правления колхоза по позднему времени давно опустела, а Мирон Платоныч уходить домой не торопился. Сидел у себя в кабинете, думал. О том думал, что переменился он в последнее время. И заметно переменился. Почему-то вспоминался дурашливый шофер, с которым однажды довелось ехать. Не слушая никаких резонов, шофер этот попер на машине через сырой луг и забуксовал — ни назад, ни вперед...

Ладу не стало с членами правления у Мирона Платоныча. Бывало, что председатель ни скажет, все принималось безоговорочно. Привыкли уж: Мирон Платоныч плохого не предложит, потому — понимает и землю, и

людей, на ней работающих. И Яснов раньше в одну сторону с председателем тянул. А нынче, вишь, у Макара другая линия. Да ладно, кабы один гнул свою линию, а то ведь правление целиком за собой повернул... Назад тому дней пять, пешечком возвращаясь с полей (Чемберлен, числившийся в штате пожарной команды, был занят по случаю пожарных учений), Мирон Платоныч увидел нешибко бегущую от села ему навстречу легковую машину. Из-под колес ее курилась пыль, тянулась пышным хвостом, и Мирон Платоныч сообразил, что коли не хочет попасть в пыльное облако, надобно сойти с дороги вправо.

Когда машина приблизилась, Мирон Платоныч узнал голубую «Волгу» ольховозерского председателя Стрельцова. Чуть не доезжая, «Волга» остановилась, из нее вышел сам Стрельцов, улыбаясь и протягивая руку, подошел к Мирону Платонычу.

Было ему лет тридцать с небольшим, но в кофейного цвета рубашке и синих с грубыми швами молодежных брюках из парусины выглядел он совсем студентом. Круглолицый, румяный, стремительный в движениях, он производил впечатление человека энергичного и решительного. Мирон же Платоныч имел об ольховозерском председателе свое особое мнение; оно укладывалось в одном слове — выжига.

— А я к вам,— быстро заговорил Стрельцов.— Ни в конторе, ни дома не застал, говорят — в полях. Рад, что встретил.

— Дело, что ли, имеете? Ну, ну, слушаю,— хмуровато сказал Мирон Платоныч, а про себя подумал: «Эко учудил: уборка началась, а он в конторе да дома председателя ищет».

— Вы в село? Так, может, я вас подброшу? — Стрельцов радушным жестом пригласил в машину.

Мирону Платонычу такое предложение показалось вдруг ужасно обидным. «Смотри, какой добрый — подбросит... А чего ему не добрым быть — машина-то, чай, на колхозные денежки куплена. Мне вон седьмой десяток, я на своих двоих хожу, а этот надел брюки черт те какие, что у Аврама Линькова, ну да тому простительно, и — я ли не я ли — на машине... То-то рожу-то накатал...» А вслух проговорил:

— Ничего, благодарствую, у меня еще в полях дела. Коли что надобно — говорите, слушаю.

Стрельцов мгновенно уколол его своим неломким острым взглядом и заговорил, по своему обыкновению, стремительно и точно, будто речь его была хорошо отрепетирована:

— Мирон Платоныч, на Лысой горе вы приступаете к строительству кирпичного заводика. Дело нужное, просто необходимое в условиях нашей безлесной местности. Мы без кирпича тоже как без рук, и, главная беда,—делать его не из чего — нет ни глины, ни песка. У вас же глины — целая Лысая гора. Вот мы и предлагаем, Мирон Платоныч, строить завод вместе, на паях, исполу. И вам выгодно, и нам.

Чего-то в этом роде и ожидал Мирон Платоныч. Пользовался слухами, что очень уж по душе пришлась Стрельцову затея таборцев построить кирпичный завод. И побежали мысли одна другой злее и ядовитее: «Правда, что из молодых, да ранний. Мы еще и фундамента не заложили, а он уж на кирпичики пасть свою ненасытную разинул. Песка, глины у него нет... Ишь, бедолага... А ты пришли пару машин да трактор с прицепом и нагружайся ею, глиной-то. Земля — она не частная собственность. Когда удобрение брал, небось меня не спрашивал, в пайщики не набивался...»

— Так что скажете, Мирон Платоныч? — поторопил ольховозерский председатель медлившего с ответом Агафонова.

— Да что ж я скажу? Не с руки это нам.

— Почему? Завод станет вам вполовину дешевле. Слышал я в райкоме, что осенью собираетесь переходить на денежную оплату труда колхозников. Свободные средства нужны будут. Почему же не с руки?

— Ну, денежная оплата — дело наше. А не с руки потому, что половину кирпича — вам отдай. Что ваши деньги? Образованный строитель сюда ни за какие деньги не поедет. Я вон дипломированного техника-строителя нашел, товарищ Калашникову...

— Ну, положим, с техником вам повезло — солдат жену-техника привез,— улыбнулся Стрельцов.— Но кто нам мешает расширить завод? Поговорим с Калашниковой, поправим проект... Ведь вы хотите иметь заводик сезонный, а можно сделать такой, что круглый год будет работать. Излишки кирпича появятся, продадим соседним колхозам — новая статья дохода.

— Ну, это все вилами на воде писано,— махнул рукой Мирон Платоныч, а про себя подумал: «Ишь, проворный, успел уж и в проекты свой нос сунуть».

— Так вы отказываетесь? — потвердел лицом Стрельцов.

— Отказываемся. Мы за большим не гонимся. Какой нам нужен заводик, такой и построим. Вы уж в наши дела не мешайтесь.

— Странно, странно,— Стрельцов зыркнул на Мирона Платоныча злым и напористым взглядом.— У вас одно мнение, у Яснова другое... Он, например, мое предложение одобрил и даже поругал себя, что сам не догадался сделать его нашему колхозу. Это, по-моему, партийная позиция.

— Ну вот что! — вспыхнул Мирон Платоныч.—Яснов покуда мой заместитель, и что он там одобрил, меня не касается. А в партии я сорок с лишним лет, с гражданской, и не вам мне указывать, какая позиция партийная, какая — нет. С тем до свидания.

Кивнув на прощание, Мирон Платоныч, не оглядываясь, зашагал в сторону села. Сзади заурчала машина... «Езжай, езжай, скатертью дорожка»,— весело подумал Агафонов.

А на поверку вышло, что веселился он зря.

Яснов, узнав о его нежелании объединиться с ольховозерцами, сам подготовил этот вопрос и вынес на вчерашнее заседание правления. Да так ловко подал, что правленцы единогласно проголосовали за совместное строительство с тем условием, чтобы расширить завод. Мирон Платоныч остался в одиночестве. Выходит, все правы, а он, Агафонов, не прав? Выходит, что так. И ведь за последние месяцы не впервые с ним случается подобное. Что-то разладилось в нем, что-то разладилось...

Громко зазвенел телефон.

— Слушаю!

— Вы, Мирон Платоныч? Не чаял застать.

Звонил Фомин.

— Я, Илья Николаевич. Задержался вот.

— У вас вчера правление было? Что же решили?

— Решили строить кирпичный завод вместе с ольховозерцами.

— По-моему, лучшего партнера и желать нельзя.

— Не скажите, Илья Николаевич. Побаиваюсь я иметь дело со Стрельцовым, не всегда по-государственному под-

ходит он к нашим общим проблемам. Иной раз кулак в нем проглядывает.

— Неужели? — удивился Фомин.— Конкретно что вы имеете в виду?

— Да что... Навозил Стрельцов себе столбов для электрической линии. Ну и лежат у него они без пользы. Срок менять старые столбы наступит еще когда — лет через пять... Новые-то до той поры погниют. А нам, к примеру, электричество проводить — столбов нет. Вот и получается, у кого — густо, у кого — совсем пусто. По-государственному это? Считаю — нет. Когда тому же Стрельцову понадобились удобрения и он забрал у нас тонн двадцать торфу, я препятствий не чинил. Понимаю: урожай—дело наше общее. А он сидит на своих столбах, как собака на сене.

— Вы у него их просили?

— Нет.

— Так попросите.

— Да что вы — у него снега зимой не выпросишь. Вот кабы вы словечко замолвили, Илья Николаевич... Тогда с ним еще можно было бы разговаривать.

— Понимаю вашу боль,— по голосу можно было понять, что Фомин улыбается.—Ладно, без столбов не останетесь. А позвонил я вам, чтобы поделиться радостной новостью.

— Да, да, слушаю, Илья Николаевич!

— Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена большая группа работников сельского хозяйства. Список будет завтра опубликован в газете, но мне известно, что есть там люди и из вашего колхоза.

— Значит, Ударову и Каткова наградили?!—встрепенулся Мирон Платоныч.

— Да. Обоих — орденом Ленина. Но это не все. Вы и Яснов награждены орденом Трудового Красного Знамени.— Фомин замолчал, ожидая, что скажет Агафонов. Когда длительность паузы превзошла все принятые нормы, спросил: — Вы слышали меня, Мирон Платоныч? Что молчите?

Мирон Платоныч сглотнул слюну, кашлянул.

— Не знаю, что и сказать... Спасибо, Илья Николаевич.

— Не меня, правительство благодарите. Ну, обрадуйте своих. Всего наилучшего.

В трубке прозвучал отбой.

На улице было темновато, чувствовалось начало августа. Мирон Платоныч постоял на крыльце конторы, подумал: «Пойти обрадовать Яснова?» Но отбросил эту мысль. Еще председатель будет за ним ходить, как бы не так. Да и спит, поди. Ничего, завтра сам узнает — вот им с Санькой и праздник. Сошел с крыльца, повернулся лицом к полям, вгляделся в темное пространство. Где-то на юго-западе погромыхивал гром. А здесь вовсю сияли звезды. С полей тянуло теплым запахом спелых хлебов. От Свияги — влажной прохладой.

Хорошо прошел нынешний день в работе. На токах шумят веялки, зерно на заготовительные пункты колхоз возит в соответствии с намеченным графиком. Пора домой. Велиме, поди, заждалась. Мирон Платоныч направился к центру села. Около клуба было тихо — Енчиков, видать, выходной себе взял...

«А вообще-то, дорогой Мирон Платоныч,— неожиданно подумал о себе Агафонов в третьем лице,— завидуешь ты Стрельцову. Да и только ли Стрельцову? И Макару Яснову, и Саньке Ударовой. Всей молодежи. Жить им еще да жить, лет по тридцать, по сорок верных. Когда они состарятся, конец века двадцатого подойдет. А в каких делах им участвовать доведется, разве сравнить с нынешними? Да от меня-то к тому времени один костяк в земле останется. А они, поди, и не вспомянут про меня. А может, и вспомянут. Тот же Стрельцов... Вот, скажет, обратившись к тогдашним, молодым,— а из них, может, кто-то еще только нынешней ночью народится,— вот, скажет, был старик Агафонов — упрям, вздорен и самолюбив. По земле всю жизнь норовил пешком ходить, а уж ездить, так на лошади. Потому — любил человек землю, поближе хотел к ней быть. Да нет, ничего такого не скажет Стрельцов. Вот построим завод да полаемся с ним из-за кирпичей — что уж он там скажет...»

В избе горел свет, Велиме ждала.

Глава четырнадцатая

Всю весну и начало лета Купцов возил на городской рынок зеленый лук и редиску, потом пошла садовая ягода, огурцы, помидоры... Хотя и возместил с лихвою убыток, причиненный картофельным «бизнесом», а все же потеря камнем лежала на душе.

В городе Купцов иногда останавливался у свояка. У

того был сын, работал весовщиком на мукомольном комбинате. Он-то и надоумил Купцова провернуть одно дельце, суливщее хороший барыш. Сперва старик не соглашался. Одна стать—торговля своим луком да редиской, и совсем другая — уголовное какое-нибудь воровство. И все же в конце концов ударили по рукам — уж больно дело-то казалось легким да верным. Несколько поездок в город — и как раз вернет сумму, отобранную «дружинниками» в бедовом южном городе.

К «делу» непременно требовалось привлечь Кузьму Енчикова. Да и без Пруххи не обойтись — он теперь на току главный. С этим будет мороки побольше, мешков простить не может. Ну, злиться ему никто не запретит, а денежки получать за здорово живешь Прухха не откажется. Да и возвратить можно мешки.

Из города Купцов вернулся вечером, а утром был уже у Енчикова. Из дому Кузьма ушел рано, возил зерно с тока на заготпункт, но мать ждала его завтракать. Застал ее Купцов на улице — Сыбани бегала за свиньей, пытаясь загнать ее на двор. То заходила сзади, растопырив руки и присев — в таком положении она напоминала Купцову широкую липовую кадушку для квашения капусты,— то становилась в воротах и подманивала свинью самогонной бурдой и кукурузным силосом.

— Чух-чух-чух-чух! Заходи, холера, чтоб громом тебя расшибло, заходи, зараза, чтоб в преисподню тебе провалиться!..

— Погоди-ка,— вмешался Купцов,— ты криком ее только отпугиваешь.

Он взял прислоненную к плетню хворостину и, ловко огрев свинью, загнал ее во двор и закрыл за собой ворота.

— Спасибо, дядя Мигиш,— обрадовалась Сыбани.— Умаяла она меня, чтоб ей треснуть. Забить собираемся. В городе на базаре, сказывают, мясо дорогое. А то и самих с потрохами сожрет...

— А ты полно-ка, Сыбани,— ухмыльнулся Купцов.— Тебе их еще три-четыре можно держать, хрюшек-то. Шофер свой, на свиноферме тоже не чужая работает—только вози корм.

— Это ты про Таисию, что ли? — Сыбани выпрямилась над тазом с пойлом, которое собиралась дать свинье.—Хоть и не чужая она, а хуже чужой. Уж как Максим ее в дом взял, я ли за ней не ухаживала, не

холила?.. А она как отблагодарила?! Убежала, осрамила на все село! Бью, вишь, ее... Ну и поучишь, бывало!.. Ну и что?!!

Незаметно для себя Сыбани повысила голос до пронзительных крикливых тонов, и Купцов начал с беспокойством поглядывать через плетень на улицу и на соседний двор — не собираются ли зеваки. Но тут подъехал Кузьма, и Сыбани побежала готовить завтрак.

Купцов опустился на ступеньку крыльца и, поздоровавшись с Кузьмой, пригласил сесть рядом.

— Дельце есть.

Выслушав старика, Кузьма снял кепку, почесал затылок, опять надел. Сказал:

— Дельце-то опасное.

— А ты что хотел? Чтобы добрый дядя тебе сотню отвалил? — иронически обронил Купцов.— Риск, конечно, есть. Ну, а по-деловому взглянуть, так вовсе его нету. Сам посуди: путевка у тебя есть, накладную только придется выписать на всякий случай. Да и кто нас увидит? Теперь сухо, на большак можно выехать Стородниковской дорогой, вдоль Репейного лога.

Кузьма, видно по всему, колебался. Купцов пустил в ход последний козырь.

— Деньги делим на четыре кармана, но тебе дадим долю побольше.

— А кроме тебя да меня, кто еще?

Купцов понял, что Кузьма согласился, и ободряюще похлопал его по спине.

— Самым богатым парнем на селе будешь. В компании с нами Прухха, да в городе один... С Пруххой еще надо договориться. Он на току?

— Нет, сейчас домой приехал, избу проведать.

— Тогда давай к нему, только за мешками ко мне заедем, свои тоже прихвати. Потом вместе махнете на ток. Конечно, лучше бы дело-то иметь не с Пруххой, а с весовщиком, да к Эндри не подступишься, он ведь у нас партейный.

Прухху долго уговаривать не пришлось. Поняв, что никаких активных действий от него не потребуется и деньги он получит, в сущности, за молчание, он согласился участвовать в деле. Сыграли свою роль и другие, менее значительные обстоятельства. Выраженное Купцовым сочувствие: «Насчет Санькки ты не беспокойся: увидит, как ты, посвистывая да погуливая, живешь без нее, вмиг при-

бежит. Известно — баба...» И то, что в кузове машины Прухха нашел свои мешки.

— Потом я их заберу,— счел он нужным предупредить Купцова.

— Да заберешь, заберешь, на кой они мне? — отмахнулся старик.— Ну, езжайте с богом.

Машина с Кузьмой и Пруххой укатила.

До полудня Купцов возился у себя в огороде, потом залег в шалаше и проспал до вечера. Снились ему мешки с пшеницей и толстые пачки денег в банковских обертках. И все крупные бумажки — сотенные да полусотенные. Встав, спросил у жены, что такой сон может означать.

— Зерно — людская молва, а деньги бумажные — к горюшку.

— Да ну тебя — «к горюшку»,— обозлился старик.— Дурачье придумало, а она повторяет.

Настроение все же было испорчено.

После ужина Купцов накинул ватник и уже в дверях бросил жене:

— Я в Сто Родников схожу.

— Что это на ночь-то глядя?

— К зятю, чай, иду, не на прогулку. А он затемно с работы возвращается.

— Ну, ну, пока светло-то — дойдешь. Постой-ка, я хоть гостинца пошлю.

— Какие еще гостинцы? Аль лавку держишь?

Сегодня у Пруххи с утра настроение было радужное. Узнал от весовщика Эндри, что на вчерашнем заседании правления Мирона Платоныча разделали под орех. Давно заметил Прухха в себе эту черту—радоваться бедам людей, в особенности людей всеми уважаемых. А когда Купцов пригласил принять участие в столь денежном предприятии, да еще и вернул мешки — совсем заблагодушествовал Прухха.

Две машины с пшеницей отправились в город последним рейсом, третья — машина Кузьмы Енчикова — под погрузку пока не становилась. Подняв капот, Кузьма копался в моторе.

Подошел весовщик Эндри:

— Скоро, что ли?

Кузьма выпрямился, лицо его было красно.

— Искры нет, ток бьет в массу,—мрачно объявил он.— Сегодня, видать, мне ехать больше не придется.

Прухха усмехнулся — он-то знал, почему «нет искры».

Енчиков, однако, не сложил рук, напротив, делал вид, якобы настойчиво продолжает бороться «за искру». Он вывернул свечи и с помощью щупа долго проверял электроды. Затем вымыл их в бензине, почистил стальным ежиком, ввернул и опять начал копаться в моторе.

Время шло. Село солнце. Девушки, веявшие пшеницу, закончили работу, подмели ток и отправились по домам.

— Ну, что, паря, забастовала твоя коняга? — опять подошел к машине весовщик.

— Да, дядя Эндри, ничего не получается,—развел руками Кузьма.

— Тогда закрываю лавочку.

На лотки бункера с чистым, готовым к отправке на заготпункт зерном весовщик наклеил бумажки с печатью— пломбы, верхний люк запер на замок, ключ сунул в карман. Позвал Прухху, расписался в приемо-сдаточной тетради, дал расписаться ему и ушел домой. Грузчики покинули ток еще раньше.

Лишь только удалился весовщик, Кузьма подошел к бункеру и, пользуясь тем, что клей еще не засох, легко снял с одного лотка пломбу. Будто только и ждал этого момента, из-за скирды соломы, стоявшей обочь тока, показался Купцов.

— Эта машина не в село идет?! — нарочито громко спросил он.

Из-за машины навстречу вышел Прухха.

— Да не ори, ушли все.

— Лоток открыли, Кузьма?

— Все в порядке.

— Тогда быстро грузиться.

Енчиков сбросил из кузова мешки. Прухха с Купцовым подхватили их, подтащили к бункеру. Прухха подставил первый мешок под нижний люк, Купцов поднял лоток. Светлым потоком хлынула пшеница, и мешок наполнился в считанные секунды. Прухха отставил его в сторону, схватил другой. Кузьма, добыв из кармана обрывок шпагата — их у него было запасено довольно,— завязал мешок.

Дело пошло споро. Прухха держал мешок, Купцов поднимал лоток, Кузьма завязывал. Прухха и про хромоту свою не вспомнил — до нее ли тут!

Когда засыпали все мешки, а их оказалось ровно сорок, Кузьма слюною развел клей на бумажке и поставил пломбу на прежнее место. Теперь никому и в голову не придет, что из бункера взято около трех тонн пшеницы.

Задним ходом Кузьма подал машину к бункеру, быстро погрузили мешки. Купцов занял место в кабине рядом с ним, сказал:

— Я нынче до самого Чертова глаза ходил, дорога лучше не надо. Крой!

Прухха просунул голову в кабину:

— Ни пуха, ни пера! Когда ждать-то?

— Иди, иди,— отмахнулся от него Купцов, как от назойливой мухи.— Утром рассчитаемся.

Прухха соскочил с подножки, машина тронулась, с незажженными фарами, на небольшой скорости поползла в сторону Стородниковской дороги.

Теперь, когда все было кончено, Прухха вдруг почувствовал страх. Его начало бить, как в лихорадке, зуб на зуб не попадал. Зашел в лачугу, выпил две кружки воды, но дрожь не унималась. Прухха не знал, куда себя девать. Сядет — не сидится, ляжет — не лежится. Вчера в эту пору он к ужину приступал... Прухха вдруг остро позавидовал себе, вчерашнему. Как было хорошо, покойно вчера, когда он еще ничего не знал о затее Купцова и Енчикова. Зря он связался с ними. Кража колхозной собственности — за это по головке не погладят. Вот дурак! И чего он раньше-то не подумал, на что идет? Дурак, дурак. Нагрянут сейчас, загребут в милицию, а там — тюрьма. Батюшки, да что же это он наделал!

Прухха заметался по току. Хотелось найти такое место, куда бы можно было надежно спрятаться. Разве что вот скирда... В лачуге Прухха взял чапан, завернувшись в него, забился под скирду, прикрыл себя соломой.

Глава пятнадцатая

Осмотрев засеянную гречихой низину, что граничила с землями стородниковского колхоза, Яснов повернул в село и на закате солнца добрался до полевого стана на берегу речки Цильны. И тут увидел спешившую к стану со стороны конопляников Санькку. Сошлись около сторожки. Поздоровались. Последний раз виделись вчера вечером на заседании правления. Оба поняли, что дальше

до самого села им идти вдвоем. С минуту стояли друг перед другом и молчали. Заговорили не о том, что прежде всего их волновало, а о делах, о вчерашнем решении правления насчет совместного с ольховозерцами строительства завода, осмотрели ток для обмолота конопли. Сели отдохнуть около избушки сторожа, Яснов закурил. Сторож, судя по тому, что из трубы шел дым, топил печку. Пахнуло подгорелой кашей.

— Дед Узип, твоя пшенка ясным огнем горит! — весело крикнула в открытое окно Санькка.

— Горит, треклятая, горит,— отозвался изнутри сторож.— Сушняку, знать, переложил.— И после небольшой паузы: — Заходите ужинать, эй! Каша нынче гожа, жи--ирная... Старуха целую квалыгу масла прислала—знать, хочет, чтоб ослеп.

Яснов вспомнил, как в детстве в целях экономии масла мать тоже его пугала: жирно будешь есть — ослепнешь. Сказал:

— Мы сыты, дедушка.

— Да и пора уж идти,— добавила Санькка.

Однако с места не двинулась. Устала, как видно. И дышала тяжело, беспокойно... «Понятно — беременность»,— подумал Яснов.

Сейчас, в вечерних сумерках, Санькка казалась ему необыкновенно красивой. Черный локон выбился из-под платка, закрыл бровь. А в глазах — бархатистая грусть.

Тишина залегла в полях. Смолкли воробьи, еще недавно гомонившие на току. Лишь нет-нет да прокричит на берегу Цильны дергач.

— Пожалуй, и вправду пора идти,— сказала Санькка и с заметным усилием поднялась со скамьи.— Доброй ночи, дедушка Узип!

Из открытого окна выпросталась наружу пышная седая борода сторожа.

— Так, стало быть, не емши и уходите? — лукаво подморгнул Санькке и Яснову.— Старуху мою увидите, передайте, мол, Узип поне один ночует; а то смолоду ревновала-а — страсть как.

Санькка и Яснов рассмеялись. Озорной этот дед Узип, любит пошутить; скорей всего, смолоду и впрямь были у его жены основания для ревности.

В небе зажглись первые звезды. От Свияги тянуло влажной прохладой. Дергач подавал голос издалека.

Двое шли по полевой дороге. Шли рядом. Молчали.

Яснов остановился, взял Санькку за руку.

— Истосковался я... Трудно без тебя...

Привлек ее к себе, обнял, поцеловал в губы. Санькка засмеялась тихонько:

— Чудаки мы... будто девка с парнем... Пойдем уж.

— Подожди... Накопилось на душе — поговорить бы. Я уж побаиваться начал... насчет тебя. Совсем уж отставка мне, что ли? Пойдем туда, посидим...

Яснов указал кивком на придорожную скирду соломы.

— Полно, Макар, и так уж запоздали... Нехорошо запоздно вместе-то в село входить.

— Ну вот: то не хорошо, это не хорошо... Хоть совсем не живи.— Яснов взял Санькку под руку и потянул с дороги.

Она не сопротивлялась. Шурша стерней, прошли к скирде, сели под нею на солому. Яснов обнял Санькку, склонил ее голову к себе на грудь...

Все же Санькка настояла на том, чтобы в село они пришли разными дорогами. Яснов отправился в обход крытого тока, Санькка же двинулась напрямую.

На душе у нее было легко, спокойно, и заботы приходили на ум все какие-то легкие, несерьезные. Вот опять поздно придет домой, опять не сможет сесть за машинку. Еще неделю назад Лариса Калашникова скроила ей широкий халат, а она сшить все никак времени не выберет. Целый день в беготне. То надо было в сжатые сроки обеспечить обмолот гороха, теперь вот коноплей надо заниматься. Все с ней будет в порядке, с коноплей. И вообще все в ее жизни, нет, в их с Макаром жизни, будет в порядке, будет как надо...

Впереди послышалось гудение мотора. Вскоре Санькка увидела идущую навстречу машину. Фары почему-то не горели. Странно, с чего бы это? Добро бы, по большаку ехал, а то так себе дорога, в темноте и в Свиягу влететь недолго. Да и не ходят тут машины, чего ее сюда занесло?

Санькка встала на середине дороги, решив узнать, кто и куда едет. Метрах в пяти от нее водитель, желая узнать, кто преградил ему путь, на мгновение включил фары. После этого машина круто свернула с дороги, чтобы объехать неожиданное препятствие. Но Санькка уже узнала машину — на ней ездил Кузьма Енчиков,— бросившись наперерез, крикнула:

— Енчиков, останови!

Машина встала, но мотор работал. Санькка обошла ее с левой стороны, привстав на цыпочки, заглянула в кабину. На месте водителя сидел Кузьма Енчиков.

— Куда это тебя несет? — обратилась к нему.

— А-а, Александра Ивановна! — словно бы обрадовался Енчиков.— А я думаю: кто это балуется?

— Едешь-то куда?

— В город, хлеб сдавать.

— Зачем же сюда-то заехал? Кто у тебя там, в кабине?

— Это я, Лександра Иванна,— донесся голос старика Купцова.— В город надобно, ну вот попутно, значит... решил. А насчет того, что здесь поехали, так сказывали ноне, будто Тильзинский мост порушился, ну вот и решили вдоль Цильны...

В голосе его уловила Санькка вкрадчивую елейность, будто человек чувствовал за собою вину и старался ее скрыть, загладить. Впервые слышала она, чтобы дед Мигиш разговаривал таким тоном.

— Грузчики куда девались? — уже строго спросила она.

— Вечером машина забарахлила,— начал объяснять Кузьма,— ну, я думал — больше не поеду и отпустил их домой. Зря, конечно. Машину-то наладил. Ну и думаю: чего я от других буду отставать. Вот и решил сделать еще рейс. А дядя Мигиш обещал помочь выгрузить.

— А что ж — и помогу,— подал голос Купцов.

Удивительное ощущение было у Санькки: чем больше эти двое говорили, тем больше она им не верила. В каждой их фразе ей слышалось: я лгу. Неужели и вправду врут? Насчет Тильзинского моста — определенно. Сама сегодня дважды через него проезжала, мост каменный, еще сто лет простоит — ничего с ним не случится. Но какой им смысл врать?

Санькка вскочила на задний скат, заглянула в кузов. Мешки. Весь кузов забит мешками. Вдруг на ближайшем мешке увидела неясную метку, сделанную вроде бы краской. Что-то знакомое. Нагнулась, приблизила вплотную к метке глаза. С удивлением разобрала инициалы: «П. Е.» — мешок Прухха. Ей ли не знать его мешки! Как он сюда попал? И почему?

— Покажи-ка накладную,— вернувшись к кабине, потребовала Санькка.



— Пожалуйста.— Кузьма подал ей свернутую вчетверо бумагу.

— Зажги свет.

Кузьма послушно включил лампочку освещения кабины.

Санькка хорошо знала почерк весовщика Эндри. Эта накладная была написана не им. У того буквы крупные, круглые, а здесь — как бисер, нанизанный на нитку. Да и сам бланк какого-то желтого цвета. Такие были в прошлом году, а в этом бланки напечатаны на белой бумаге.

— Поехали обратно, что-то вы крутите,— сказала Санькка, пряча накладную в карман.— Обошла машину с правой стороны: — А ну, Купцов, выходи, лезь в кузов.

— Погоди, Лександра Иванна!.. Да ты послушай,— уже не скрывая страха, забормотал Купцов.— Нельзя так... Уж выехали в путь, так чего же... какое недоверие может быть?.. Мы тоже люди... Нужда...

Речь его была сбивчива и бессмысленна, он же не замечал этого,— говорил, говорил...

— Ладно, в сельсовете разберемся... Вылезай!

Санькка решительно взялась за ручку дверцы. Повернуть ручку она не успела, дверца открылась будто сама

собою, и что-то обрушилось на голову. Голова наполнилась гулом, точно Санькка стояла под мостом, по которому мчался поезд. Она не видела ни машины, ни Купцова, только красное зарево стояло в глазах. Последней вспышкой сознания был страх за ту пока еще безликую жизнь, которая существовала в ее чреве. Ребенок... Что с ним? Опять упало на голову что-то тяжелое. И все кончилось.

Когда Санькка упала, Купцов словно бы очнулся от кошмарного сна. И увидел, что стоит у машины с заводною рукояткой в правой руке. Рукоятка все время лежала на полу в ногах; как и когда схватил ее — он не помнил. И как ударил, тоже толком не понимал. От страха и злобы потерял власть над собой.

И вот мир будто разделился надвое. Один — тот, что был до встречи с Саньккой. И совсем другой теперь, когда она лежит на обочине дороги и сучит ногой, точно норовит сбросить туфлю.

Паническая растерянность быстро уступила место трезвому расчету. Купцов наклонился над бригадиршей— из-под волос по лицу ее стекала кровь... Не раздумывая, еще раз ударил по голове рукояткой. Санькка дернулась и замерла. «Что теперь поделаешь? — словно оправдываясь, сказал себе старик.— Вернулись бы, пришлось бы в тюрьму сесть, а так, глядишь, вывернемся». И откуда-то из глубины мозга всплыло: «Вот они к чему снились, бумажные-то деньги...» Вскинул голову, позвал:

— Кузьма!

Енчикова в кабине не было. Екнуло сердце: убежал. Крикнул отчаянно:

— Кузьма, подь-ка!!

Енчиков,— лицо белее снега, выглянул из-за радиатора, запричитал плачущим голосом, а может, и на самом деле плакал:

— Ну что, что ты наделал, старый дурак?! Идиотина! Как теперь быть?.. Куда деваться?.. Связался с гадом...

— Молчи!!—бешено сверкнул белками Купцов и сжал до боли в суставах рукоятку.—Положим ее в кузов, да живо к Чертову глазу. Погоди, голову надо завернуть, а то все перепачкаем.

Он содрал с Саньки кофту, обмотал окровавленную голову. Труп подняли, уложили за мешками. Место, где лежала Санькка, Купцов присыпал землею.

— Поехали.

Кузьма выжал сцепление, машина рванулась вперед и тут же сошла с дороги. Послушная рулю, вернулась было на дорогу, но сразу же вильнула в другую сторону.

— Веди машину как следует! — прикрикнул Купцов. И вовремя: еще немного — врезались бы в скирду.

У Чертова глаза Кузьма загнал машину в кусты ивняка, заглушил мотор. Вышли из кабины, постояли, прислушиваясь. Булькала, всплескивала вода в омуте; то там, то здесь вскрикивали ночные птицы. Все было спокойно.

Труп отнесли к обрыву, цепью привязали к мешку с пшеницей, раскачав, бросили в омут. Всплеск получился такой громкий, что Купцов и Енчиков разом присели. А когда, озираясь, привстали и заглянули в омут, вода в нем была зеркально чиста.

— Что делать будем? — шепотом спросил Кузьма.

— Пшеницу топить,— отозвался старик. — Теперь ехать с ней в город — следить только.

Он влез в кузов, развязал мешок и помог Енчикову взять его на спину. Затем начал развязывать другие. Кузьма таскал мешки к обрыву и высыпал пшеницу в омут. Скоро присоединился к нему и Купцов. Ссыпать было удобно, как в закрома — обрыв спускался отвесно. Пока избавились от пшеницы, взмокли, пóтом изошли. Опростав мешки, обрушили часть берега, чтобы ни зернинки не завалялось на виду.

И тут Енчиков заметил на поверхности воды что-то светлое, как раз на том месте, куда они бросили труп. Купцов за голову схватился: да ведь это головной платок!

— Скорей раздевайся, достать надо,— затормошил он шофера.— Да шевелись ты, тетеря...

— Неохота... Боюсь я...

— Чего испугался, дурак? Ты тюрьмы бойся... Лезь.

Пока спорили, платок сорвало и понесло по течению.

— Езжай тогда, — распорядился Купцов.— Машину поставь дома. Коли спросят, скажи, пешком с тока, мол, топать неохота было. А я так дойду. С Пруххой поговорю сам.

Хлопнула дверца кабины, заурчал мотор, машина растворилась в темноте, вскоре и мотора стало не слышно.

Купцов возвращался в Табор берегом Свияги. Неподалеку от села спустился к воде, тщательно умыл лицо, руки, посидел, отдыхая. После того не успел сотни шагов пройти, кто-то из зарослей ивняка окликнул:

— Зайди, отдохни, дядя Мигиш!

Купцов остановился, будто на стену налетел. Сердце вот-вот разорвется.

— Иди сюда, перекурим! — опять донеслось из ивняка.

Подошел. На разостланном чапане сидел Иван Калашников. Видно, рыбачил здесь.

«Жаль, второго глаза тебе не выбило»,— подумал Купцов. Вслух сказал заранее приготовленное:

— А я в Сто Родников ходил. Обратно нарочно вдоль реки пошел, все на воду любуюсь. Пымал чего?

— Покуда нет. Сома пудового дожидаюсь,— развеселился Иван.— Садись покури. Скоро жена моя подойдет. Приохотил ее к рыболовству. Хотим здесь и переночевать. Красота.

«Ну-ну, жди своего сома,— подумал Купцов.— Умен, что не занесло тебя к Чертову глазу. А я вот, дурень, по реке поперся, будто не знал, что на рыбаков наскочу».

— Нет уж, пойду,—сказал он,— старуха ждет, чай,— и торопливо зашагал прочь.

Дома, поужинав, взял с постели одеяло.

— Утречком на рыбалку схожу, сказывают, налим в наметку хорошо идет.

С этими словами удалился ночевать в шалаш. Прежде чем лечь, спустил с цепи пса Хватая.

Глава шестнадцатая

Под утро Прухха проснулся и вылез из-под скирды. Небо посветлело, но звезды еще близко сияли в густой голубизне. Было знобко. На мокрой от росы стерне, там, где Прухха прошел, осталась темная полоса.

Вечерние страхи улетучились бесследно. Вспоминая свое участие в краже, Прухха сегодня думал уже не о наказании, а о награде, которая его ждет. Сотня рублей — шутка ли! Зашел в лачугу, съел пару огурцов с хлебом, закурил — и совсем полегчало на душе.

Раньше всех на ток прибыл Кузьма. Поставив машину на то же место, где она стояла вечером, залез в кузов, скинул Пруххе его мешки. Тот пересчитал их.

— А еще один где?

— Там остался,— неопределенно махнул рукою Кузьма.— Да ты за него не беспокойся.

— Ну, да, «не беспокойся»... Небось Купцов опять

хапнул. Вот уж ненасытный-то... Ну как, дело-то хоть сделали?

— Не шуми ты,— озлился шофер.— Дядя Мигиш расскажет.

— На него только понадейся, он от тебя и на гладком льду скроется. Зна-аем!

На току становилось людно. Гурьбою, с песней, пришли девушки. С полей, от комбайнов, прибыли первые машины. Опроставшись у веялок, загрузились под бункерами и отправились на заготпункт.

Прухха с волнением ждал момента, когда весовщик Эндри начнет снимать пломбу. Обошлось — Эндри ничего не заметил. Значит, полный порядок. Непонятно только, почему Кузьма уехал с такой кислой физиономией. Денег, что ли, недодали? От Купцова того и жди. Вот и на ток что-то опаздывает, а обещал ведь утром прийти, рассчитаться.

Время подошло к десяти. Купцов все не появлялся. Прухху охватило беспокойство. Не может быть, чтобы дед Мигиш «барский завтрак» проспал, поднимается он всегда рано. В чем же дело? Неужто обмануть задумал?

— Слышь-ка, Эндри, присмотри тут, а то мне домой слетать надо,— попросил Прухха весовщика и отправился в село.

В избу к себе он входить не стал, а лишь толкнул калитку и, убедившись, что заперта, поспешил к Купцову. Старика застал в огороде, тот ковырялся в кустах малины. Спущенный с цепи Хватай бросился было на Прухху, но Купцов сгреб его за ошейник и запер в бане.

— Заходи,— кивком пригласил в шалаш и вошел первым.— Ну, как там, порядок?

— У меня полный, а как у вас?

Вопрос Купцов пропустил мимо ушей. Зачем-то выглянул наружу, потом зевнул в ладонь. «Припозднились, видно,— не выспался»,— подумал Прухха.

— Как у тебя с Санькой-то, паря?—спросил Купцов.

Прухха нетерпеливо заерзал на сене: и что ему до Саньки, о деле бы говорил. Все же удовлетворил стариковское любопытство:

— Похоже, совсем ушла. С Макаром же она, сам знаешь...

— Ну, пес с ней, плюнь ты на нее! — с неожиданной, необычной для него заинтересованностью в чужой беде проговорил Купцов.— Эка, подумаешь,—бригадирша! Да

ты хоть артистку с картинки, хоть инженершу теперь могешь к себе привести. Вон как Иван Калащников... А эта тебе не пара, потаскушка — только и всего. Имя твое в дерьме изваляла. Да я бы на твоем месте за это...—Старик махнул рукой, словно что-то отбросил прочь.— Развелся бы я на твоем месте без разговоров.

Прухха неопределенно пожал плечами. Сочувствие — это, конечно, приятно, только дядя Мигиш уже слишком напустился на Санькку. Может, еще и вернется. Никто, кроме нее, Пруххе не нужен. Ни артистка, ни инженерша. Да и на кой ляд он сдался артистке?

— Возьми да женись заново, ей-богу,— остывая, дополнил свою речь Купцов.

— Э, погоди-ка,— воспрянул Прухха.— Что ты мне про женитьбу? Я не за тем пришел, у меня времени в обрез. Ты давай рассчитайся со мной за вчерашнее-то.

Лицо у Купцова неуловимо изменилось, будто сползло к подбородку, отяжелело. Взгляд ушел в сторону. После короткой паузы сказал:

— Не вышло у нас дело, Прухха.

— Врешь!

— Такая беда приключилась, паря, что...— Купцов опять выглянул из шалаша, огляделся. Убедившись, что никого в огороде нет, сел напротив Пруххи и рассказал о том, что произошло вчера на стородниковской дороге. Сначала Прухха подумал, что Купцов врет, чтобы присвоить его долю. Но когда услышал, что пшеницу высыпали в Чертов глаз и Санькку, привязав к мешку, бросили туда же,—поверил. Одного мешка и впрямь недоставало... Он сидел, словно каменное изваяние. Чем глубже проникал в его сознание весь ужас случившегося, тем отчетливее возникала в груди какая-то студенистая дрожащая масса. Дыбились на голове волосы, проволочной щеткой охватывали череп...

— Зверь... дикий зверь ты, Купцов,— вымолвил чуть слышно Прухха.

— Думаешь, охота в тюрьму садиться? — зло отозвался старик.

— А теперь не сядешь? Так, что ли? — Прухха привстал, собираясь выйти из шалаша.

Купцов подался вперед, шумно выдохнул:

— Куда пойдешь?

— Не твое дело, сам знаю.

— Настучать, что ли, хочешь? Так ведь самого поса-

дят.— Старик ухватил Прухху за ногу, потянул от двери.
— Пусти, бандит! — Прухха лягнул ногой, вырвался из цепких рук Купцова, но потерял равновесие и упал.

Старик набросился на него, подмял под себя, стараясь ухватить за горло. Но сказалась разница в возрасте — Пруххе удалось без особого труда сбросить старика. Размахнувшись, ударил его кулаком в лицо. Купцов охнул, из носа полила кровь.

Прухха вышел из шалаша, торопливо зашагал к калитке. Следом выбежал Купцов, бросился к бане, выпустил пса:

— Хватай! Узы его!

Здоровый, чуть не с теленка, пес молча бросился к Пруххе. Но тот успел выскочить из огорода и захлопнуть калитку.

Поднявшись рано, Яснов успел побывать в конторе, на строительстве кирпичного завода, на фермах и часам к девяти вернулся домой, чтобы позавтракать. Настроение было радужное: только что узнал от Мирона Платоныча, что Санькка награждена орденом Ленина, а он—орденом Трудового Красного Знамени. Второе Красное Знамя. Только первое-то — Боевое.

Не успел взойти на крыльцо,— из окна «мастерской» выглянул Андреев, призывно махнул рукой.

— Зайди, Макар!

Как только Яснов переступил порог «мастерской», он понял, зачем его позвал художник. В центре помещения на мольберте стояла законченная, по-видимому только что, картина.

— Взгляни, как оно пущено? — почему-то хмуро сказал Андреев и отвернулся.

На картине от первого плана до синеющей вдали лесополосы простиралось поле спелой пшеницы. В голубом небе висело белое облако. Было утро. Именно утро, судя по прозрачности воздуха. Край поля идет от нижнего обреза картины полого наискосок. Обочина дороги заросла катун-травой. На переднем плане изображен с фуражкой в руке Мирон Платоныч. Солнце блестит на его лысине. Тут же Микита Катков и Санькка в белом платке с синими цветочками. А чуть поодаль и он сам, Макар Яснов, что-то говоря, идет к тем, кто на переднем плане. Но Санькка занята своим: размяла на ладони колос и пробует на зуб крупные зерна. Лицо раскраснелось, глаза смеются.

Молодец Васьлей! — как он точно ее схватил. И губы, и глаза, и улыбка, и руки, сильные руки, побронзовевшие от солнца,— все это она. И даже черную прядь, имевшую обыкновение выбиваться из-под платка, не упустил из виду художник.

— Ну, как? — обернулся от окна Андреев и, не дожидаясь ответа, проговорил с нервной улыбкой:—Сюжетец банальный — «Завтра жатву начинать», но чем эта вещь отличается от множества подобных? — И опять, не дожидаясь ответа, выпалил: — Парадность отсутствует!

Яснов пригляделся к картине. Верно, одежда рабочая; поношенная, запыленная обувь, лица не заглаженные, натуральные, живые, у Мирона Платоныча даже седая щетина видна на щеке. И движения их полны жизни. Потому, хотя и не маячила вдали никакая техника, и ни у одного из персонажей картины не было в руках ни косы, ни серпа, чувствовалось, что они работают, а не позируют перед зрителем.

Яснов никогда не был сентиментальным человеком, но тут не удержался, обнял друга и даже ткнулся губами в колючую его щеку.

— Спасибо, Васьлей. За искусство твое. За Санькку.

— Ну полно, полно,— смутился Андреев.— Для клуба копию сделаю.

— Придется только внести одну поправочку,— хитро улыбнулся Яснов.— Вот здесь,—пальцем указал на Саньккину грудь,— надобно нарисовать орден Ленина.

— Награждена?! — оживился Андреев.

— Точно! А твой покорный слуга Трудового Красного Знамени удостоен. Вообще, все, кто на твоей картине, получили ордена.

— Поздравляю,— протянул руку Андреев.— Но предупреждаю: на картине у вас ордена не будет. А то случается, что на полотнах орденами характеры подменяют.

— Ладно, пойдем завтракать.— Яснов хлопнул художника по спине и легонько подтолкнул к двери. Они вышли из «мастерской» и направились к крыльцу. Стукнула калитка. Через двор навстречу им торопливо шел Прухха. Был он бледен, волосы растрепаны, глаза как-то беспорядочно, сумасшедше бегали из стороны в сторону. «Пьяный, что ли?» — подумал Яснов.

— Санькка... Санькка... Был у нее... Она дома не ночевала...— сказал он каким-то странным, не своим голосом.

От досады Яснов сцепил зубы так, что скулы одеревенели. Подумал: «Дурак... экий же дурак...» И вслух:

— Что же теперь?

— Ее Купцов с Енчиковым в Чертов глаз бросили... Убили...

— Погоди, погоди,— усмехнулся Яснов, соображая, с чего это Прухха плетет такую чепуху? Развезло, что наяву бредит? Но от него не пахнет алкоголем. Тогда как понять его странные речи?

— Купцов меня самого чуть не задушил! — повысил голос Прухха.— Словить его надо.

— Вы, может быть, путаете что-нибудь? — мягко заметил Андреев.

— Ничего я не путаю. Сам Купцов мне сказал: убили и бросили в омут.

— Да за что?

— Они вчера пшеницу с тока украли, в город повезли, а она их застигла.

Яснов почувствовал, как на щеках его высыпали пупырышки гусиной кожи. Как ни дико было то, что говорил Прухха, оно походило на правду.

— Вот что, Прохор Иваныч, беги в сельсовет к председателю, а мы,— Яснов обернулся к художнику,— а мы вдвоем — к Купцову.

...Когда Яснов с Андреевым проходили проулком мимо Купцовского огорода, они увидели, как дед Мигиш вошел в свою баню. В избе теперь им делать было нечего, и они через двор ринулись в огород. Тут путь им преградил свирепо рычащий пес. Яснов, схватив стоявшую у плетня лопату, выгнал собаку из огорода во двор и запер калитку.

Подошли к бане. Яснов толкнул дверь — заперто.

— Дядя Мигиш, выйди-ка.

Ответа не последовало.

— Слышь, дядя Мигиш? Выйди, дело есть.

Внутри послышались шаги, открылась дверь предбанника, в дверном проеме возник Купцов.

— Чего запрятался? — сказал Яснов.— Пойдем-ка с нами в сельсовет.

— Пошто мне по Советам ходить? — Купцов изобразил удивление.—У меня времени нету, печку в бане чиню.

— Печка не убежит.—Яснов взглянул на руки старика, они были чисты — ни следов глины на них, ни сажи.— Пойдем, дело, говорю, есть.

— Да я еще и не обедал,— как-то безнадежно прого-

ворил Купцов, и во взгляде его, устремленном куда-то поверх головы Яснова, застыла тоска.

— Успеешь еще пообедать.

— Вы это... идите, а я сейчас за вами,— оживился Купцов, и глаза его затравленно зыркнули по сторонам.— Перекушу малость и...

— Потом, потом перекусишь, небось с голоду не помрешь.

— Какое уж там срочное дело до меня?

— Придем, и узнаешь.

— Да что узнаю-то?.. Кто-нибудь сплетню пустил. Ну и народ!

Он переступил порог бани, закрыл за собою дверь. Зашел в избу, надел, несмотря на жаркий день, ватник.

— Знобит чегой-то, заболею, должно.

Руки его тряслись, как у малярика, и лицо приняло сероватый оттенок, словно покрыла его цементная пыль.

Когда пришли в сельсовет, председатель, младший брат Микиты Каткова, расспрашивал Прухху. Поднял взгляд на вошедших, сказал:

— Емеськин, похоже, говорит правду. Я вызвал милицию. А этого обыщем.

Он встал из-за стола, подошел к Купцову. Яснов ощутил, как тонкой иглою в сердце вошла боль. Опустился на стул, что стоял сбоку от председательского стола.

«Санькка убита, убита и утоплена... Ее нет в живых»,— как птица в тесном темном ящике билась бессильная, надсадная мысль.

— Чувствовал, сволочь, чем пахнет, бежать приготовился,— сказал председатель, складывая на стол извлеченные из карманов Купцова большой кусок свиного сала, ковригу хлеба, нож, коробок спичек.

«А ребенок-то как же, ребенок? — вспыхнуло в мозгу у Яснова.— И он погиб, значит? И он... да... Не родится мой ребенок... Не будет его...» Рука Яснова потянулась к стоявшей на столе тяжелой мраморной пепельнице, схватила ее, сжала... Он не желал этого, он боролся с собою, но сила, бешеная сила, перехватившая дыхание, смявшая все доводы рассудка, заставила его встать, в замахе отвести руку... На месте Купцова увидел он вдруг эсэсовского оберштурмфюрера, с которым столкнулся однажды в разведке один на один...

Он опомнился лишь тогда, когда его схватили за руки и кто-то, кажется, Васьлей, поднес к его губам стакан,

и он жадно выпил воду. Увидел Купцова, прижавшегося к стене, на лице — ужас...

— Не могу,— сказал,— не могу тут... с ним...

И вышел из сельсовета.

С тока привезли Кузьму Енчикова. Странно было видеть заплаканное лицо у этого взрослого парня. Прибежал в сельсовет и Мирон Платоныч. Сел на стул и долго не мог прийти в себя от болей в сердце. Вспомнились вчерашние мысли о Стрельцове, о Яснове, о Санькке. Прочил ей долгую жизнь, а она в это время уже была мертва. И умерла, как на войне. Как коммунистка умерла...

Из района прибыли трое милиционеров. Купцова и Прухху, запертых — один в амбаре, другой в чулане,— допрашивать они не стали, а, втолкнув в машину Енчикова, велели ему показать, где утоплен труп, и умчались по стородниковской дороге.

В тот же день следователь допросил старика Мигиша и Кузьму. В убийстве они признались. Затруднительно было установить, кто ударил Санькку. Преступники валили вину друг на друга. Следователь склонен был верить Енчикову, но для суда требовались улики, факты, и их предстояло добыть.

Прухха и Кузьма на допросе то и дело плакали, всхлипывали, проклинали Купцова. Прухха, по мнению следователя, нуждался в медицинской экспертизе, похоже, у него что-то случилось с головой. На вопросы давал наивные или невразумительные ответы, плакал и тут же, через минуту, начинал улыбаться.

Под вечер трех преступников на машине, которую до того водил Енчиков, повезли в район. Купцов с Кузьмою сидели, прижавшись спиною к кабине, опустив головы, не глядя по сторонам. Старик в старом треухе с опущенными ушами, Кузьма в кепке, надвинутой на глаза.

Прухха сидел на корточках у бокового борта. Каждому встречному, даже идущим далеко в стороне, он махал рукой и кричал: «Прощайте, люди добрые!»

...После отъезда Васьлея Андреева Яснов почти перестал бывать дома. Часто ночевал у родственников. С утра до позднего вечера находился среди людей. А когда оставался наедине с собою, испытывал мучительное

чувство потери. Прежде, засиживаясь дома допоздна за книгами или конспектами, он знал, что не так уж далеко живет любимая и любящая женщина, и мысль эта вселяла радость и бодрость, постоянно поддерживала высокий тонус души. Теперь жизнь словно бы дала трещину; сколько бы ни воспринимал он радости от окружающих, вся она без остатка сквозь ту трещину уходила. Когда особенно одолевала тоска, он шел на кладбище и подолгу стоял у заветной могилы. В изголовье ее он посадил две березы, а могильный холмик засеял собранными им самим семенами полевых цветов.

Все на свете проходит. Постепенно и Макар Яснов перестал ощущать остроту утраты. По-прежнему светились вечерами окна в его избушке. Читал книги, писал. И перед ним, на стене, в самом освещенном месте комнаты, висел портрет Санькки.

Глава семнадцатая

Возвращаться с фермы Марись взяла обыкновение также по Полевой улице, мимо дома Якку. В последние дни она видела Якку урывками — у него умерла мать, и он был занят печальными хлопотами.

Поравнявшись с домом, Марись увидела, что окна освещены. Значит, Якку дома. Интересно бы знать, чем он занимается по вечерам теперь, оставшись без матери. Один он или еще кто-нибудь есть в избе? Марись сама себе не желала признаться в том, что этот «кто-нибудь» представлялся ей существом женского пола.

Марись сбавила шаг, затем, оглядевшись, перебежала на другую сторону улицы к избе Якку. Вблизи была она куда больше, чем казалась издали. Только уж слишком приземиста. Три фасадных окна вот-вот уйдут в землю — вершка два оставалось от нижних наличников до завалинки. Чтобы завалинка не осыпалась, дом обложен спереди и с боков корягами и пнями.

Поверх занавесок видна была лампа, висевшая на гвоздике в переднем углу, над столом. Один краешек лампового стекла отколот, другой — закопчен. Оконные занавески тоже не блистали чистотой, копоть и пыль осели на них, и не стирали их, как видно, с прошлого года. В занавеске на среднем окне Марись обнаружила прореху и заглянула в нее.

В избе никого не было видно. На столе лежала половина буханки хлеба и нож, рядом — пустой стакан и стеклянная крынка с молоком. Судя по всему, хозяин не утруждал себя приготовлением горячей пищи.

В поле зрения появился Якку. Наклонясь, он что-то делал около двери. Вот в руках его появилась тряпка, он ее выжал над ведром, которого не было видно. Марись поняла — моет полы. Смотрите, какой чистоплотный!

Якку выпрямился, тыльной стороной ладони отер со лба пот, опять выжал тряпку и расстелил ее перед дверью. Ведро поставил под рукомойник, умылся. Потом убрал со стола, налил молока неотступно бегавшей за ним кошке и остановился посередине избы. Постояв, подошел к зеркалу, висевшему на стене, причесался. Расческу положил за зеркало; словно бы взамен, оттуда же достал пачку папирос и закурил.

Марись возмущенно покачала головой: обещал бросить курить, а сам чадит вовсю...

Якку, не докурив папиросу и до половины, бросил в ведро под умывальник.

Сел к столу, устремил взгляд в угол. О чем он думает? Широкоскулое густобровое лицо сосредоточенно. Вообще-то, лицо у Якку хоть и грубовато сработано, а симпатично. Говорят, такие лица у людей смелых, решительных, сильных... Якку, конечно, физически слабым не назовешь, но что касается смелости,— тут он явно подкачал.

Якку огляделся, встал и начал разбирать постель. «Смотрите, какой младенец, в этакую рань спать укладывается,— досадливо подумала Марись.— Хоть бы вышел, прогулялся... Мог бы и за мной зайти».

На улице послышались шаги. Марись отскочила от окна и спряталась за плетень. Прохожий протопал мимо и свернул в проулок.

Марись подумала, что болтаться около избы крайне глупо и неудобно. Увидит кто-нибудь — бог знает что подумает. Еще на смех поднимут.

И — решилась. Поднялась на крыльцо, толкнула дверь. Дверь подалась — не заперто. В сенях было темно. Марись прикрыла дверь и постучала. Послышались шаги, Якку распахнул дверь и, увидев Марись, сделал большие глаза:

— Ты?

— Я. А что? К тебе нельзя?

Якку, это даже в темноте было заметно, густо покраснел.

— Почему нельзя? Можно.

Однако с места он не двинулся, так и продолжал стоять в дверях, ошеломленный.

— Можно, а не приглашаешь.

К Якку вернулась способность соображать.

— Проходи, пожалуйста.—Он пропустил девушку мимо себя, забежал вперед, распахнул дверь в избу, чтобы осветить для нее темные сени.

Марись, переступив порог, вытерла о влажную тряпку ноги, по еще не высохшим половицам прошла вперед, села на подставленный стул. Хозяин же остановился посередине избы, совершенно не представляя себе, куда смотреть, что говорить и куда девать руки.

— Я ни разу не была у тебя,— сказала Марись, оглядывая комнату.

— И я у тебя не бывал.

На этом разговор иссяк.

«Пришла, пришла... ведь не зря же пришла,—взволнованно размышлял Якку.— Ей интересно, как я живу, значит, и я для нее интересен... А то зачем бы приходить».

«Зачем я пришла? Как я ему объясню?—растерялась вдруг Марись.— У него такой вид, будто он ничего не понимает. Господи, ну и тупица! Или не хочет понять? Но так или этак — пора знать определенно, нужны мы всерьез друг другу или нет...»

— Ты сейчас с фермы? — нашел наконец Якку возможность нарушить молчание.

— Ага, с фермы.

— Как там дела?

— Нормально. План этого года выполняем. Соревнуюсь с Евдокией Платоновной. Она теперь на ферме супоросных свиноматок.

Опять замолчали.

«Экая бестолочь,— думала Марись, искоса поглядывая на растерянного парня.— О ферме, что ли, говорить я к нему пришла?»

— Как ты тут один?

— Не сладко, конечно. Да что поделаешь?

«Так уж ничего и не поделаешь? — в мыслях своих обрушила Марись потоки сарказма на голову Якку.— Я, значит, поделывать должна? Я тебе должна предложе-

ние делать, а ты согласен только на одно — ушами хлопать...»

— Как ты ко мне относишься? — нашла в себе силы спросить Марись и опустила голову.

— Я? — оторопел Якку.— Да ведь ты сама знаешь.

— Нет, ты прямо скажи: как? Не увиливай.

— Ну-у... Ну-у...

— Без мычания можно? Скажи: как ты ко мне относишься? Не скажешь, сию минуту уйду и... и... и все.

— Марись, ну что ты? — Якку метнулся зачем-то к кровати, поправил одеяло, потом сунулся в угол к рукомойнику и опять очутился в центре избы.— Я же это... ты сама знаешь...

— Ничего я не знаю,— металлическим тоном отрезала Марись.

На Якку жалко было смотреть: красный, потный, будто только что выбежал из парной.

— Я... я, знаешь... тебя это... люблю,— выдавил он из себя сиплым замирающим голосом. Перевел дух и, сделавшись от робости как бы даже ниже ростом, спросил: — А-а-а... а ты?

Марись подошла к нему и поцеловала в губы:

— И я.

Он обнял ее, но тотчас выпустил из объятий.

— Нам надо, наверное... это... пожениться?

— Надо,— со вздохом облегчения согласилась Марись.

— Да ведь тебя, чай, родители будут ругать?

— Не будут. А если поругают,— что ж такого.

Беззаботность Марись озадачила Якку.

— Так-то оно так, а все же...

«Господи, что за пентюх! — возмутилась в душе Марись.— Видно, так и придется мне в каждом деле быть первой».

— Пойдем к нам, поговорим с мамой прямо сейчас.— Марись решительно шагнула к двери.

— Погоди, погоди ты! — испугался Якку.— А Мирон Платоныч?

— Папа, наверное, еще из района не вернулся,— совещание. Ну, пойдем. Или на клею стоишь?

— А как же... учеба твоя?

— А все также — поеду вот сдавать на заочное отделение. Отпустишь? — Глаза Марись весело блеснули.

Якку подошел к ней, крепко прижав к груди, уткнулся лицом в ее нежную шею.

Мирона Платоныча и в самом деле дома не было.

Выйдя из кухни на стук двери, тетка Велиме с некоторым недоумением встретила появление дочери в компании с Якку. Однако гость есть гость. Вытерла передником руки, поздоровалась, предложила сесть.

— Мама, мне надо с тобой поговорить,— объявила Марись чуть ли не с порога.

— Ну, ну, поговорим,— сказала тетка Велиме и — Якку: — А ты уж, парень, поскучай один, не взыщи.

Мать и дочь удалились в горницу. От прихожей горница была отделена лишь занавеской. До Якку доносился торопливый шепот то Марись, то тетки Велиме. Потом начали прорываться голоса. Что именно говорилось, он не мог разобрать, но по интонации понял: тетка Велиме сердится на дочь. Боясь, что сейчас достанется и ему,— со стыда сгоришь, коли выйдет да начнет совестить,— Якку тихонько открыл дверь,— слава богу, петли смазаны,— и вышел на улицу. Свет из окон горницы тускло освещал кусты в палисаднике. Тень тетки Велиме маячила на оконной занавеске. Вон уже до чего дошло — руками размахивает. То-то достается Марись. Заступиться бы за нее надо. А как? Сунешься, а тебе: какое, мол, твое постороннее дело, вон отсюда! Сладь-ка с ними попробуй... А ушел все-таки зря... «Струсил»,—скажет Марись.

Тень тетки Велиме пропала. Наговорились. Со стуком раскрылась калитка — это Марись. Подошла к Якку, приникла к нему. Слава богу, значит, не сердится.

— В общем, все в порядке,— бодро проговорила девушка.— Поворчала, конечно. Но это так, от неожиданности. Под конец даже прослезилась, а согласие все-таки дала.

— Дала-то дала, а вот как еще Мирон Платоныч на нашу затею посмотрит?

— Это уж не наша с тобой забота. Мама его уговорит. Да и не будет он противиться — ты ему по душе, я знаю.

Из райцентра Мирон Платоныч выехал под вечер. Яснов остался на семинар, остальные таборцы, участвовавшие в совещании,— бригадиры и механизаторы,—укатили еще раньше на машине.

Ленивого до рыси Чемберлена Мирон Платоныч не подгонял — торопиться было некуда, а в дороге при нешибкой езде хорошо думается. Да больно-то и не разгонишься,— пока заседали, прошел проливной дождь, до-

рога раскисла; грязь сочно чмокала под копытами коня, наворачивалась на колеса. По небу низко плыли клочковатые мрачные тучи. Теплый ветер гнал их в сторону Табора. Пахло омытыми дождем травами и землей.

Настроение у Мирона Платоныча было мрачновато, под стать погоде. Замурлыкал было под ритмичную музыку копыт песню, да не пошла песня.

Собственно, на совещании его не ругали. Напротив, в своем докладе секретарь райкома упомянул таборское хозяйство в числе передовых, похвалил за неизменно высокий урожай хлебов, за стремление умножать поголовье скота. Фомин привел цифры, из которых было видно, что в Таборе в расчете на одну дойную корову молока получено больше, чем в любом другом колхозе. А переходящее знамя райкома осталось все же у ольховозерцев. Потому что, несмотря на меньшую продуктивность коров, молока государству они продали намного больше. Больше продали и хлеба, хотя сняли столько же, сколько и таборцы. Оно и понятно: трудодни ольховозерцев оплачивались не зерном, а деньгами.

Ну, знамя ладно: сумели за собой сохранить — гордитесь. Но вот от выступления ольховозерского председателя до сих пор коробит Мирона Платоныча.

Получив из рук Фомина знамя, Стрельцов передал его своему парторгу и взошел на трибуну. Сперва заверил всех, что ольховозерцы и впредь постараются удержать знамя в своих руках. Потом ударился в критику. Тот председатель работает по старинке, тот не держит связи с соседними колхозами, не перенимает передовой опыт, этот уклоняется от оказания помощи, не может все еще избавиться от единоличной психологии. Словом, все у него плохи, один он хорош. Мирон Платоныч, конечно, понял, в чей огород был брошен камешек под названием «единоличная психология». Хорошо хоть ума хватило промолчать насчет столбов — вот, мол, Агафонова облагодетельствовал. А то бы Мирон Платоныч живо напомнил бы ему про удобрения, захваченные разбойным обыкновением, да про то, как Фомину пришлось обращаться насчет столбов. Правда, передавая те столбы, Стрельцов попенял: ни к чему, мол, было вмешивать секретаря, попросил бы добром—и получил бы. Да только Мирон Платоныч воробей стреляный, такие добрым речам цену знает.

Про столбы Стрельцов промолчал, зато уж насчет своего пруда расхвастался — удержу нет. Уж и карпы-то

у него там проживают чуть не по пуду, и доход от них только что не лопатой грести приходится. Таких же карпов предлагал выращивать и другим колхозам. А Мирону Платонычу на подобную возможность даже персонально указал. Так и хотелось гаркнуть с места: спасибо, мол, надоумил, а то мы, жизнь проживши, ничего про твоего карпа не знали, не ведали! Сдержался. Только взглянул на сидевшего рядом стородниковского председателя Батракова, тоже поседевшего на колхозной работе, да глазами сделал этак: вот, дескать, как нас с тобой, дураков, учат. «Ну, ничего, вот мы через годик-другой своих карпов вырастим, да коров, да свиней разведем, я ему нос-то утру...»

Дорога взбежала па холм. Здесь почва была песчаная, грязь больше не наматывалась на колеса. Мирон Платоныч расшевелил Чемберлена вожжами, пустил рысцой. Не заметил, как и завечерело, впереди, в Ольховом Озере, зажглись огни. Чтобы не встречаться ни с кем из знакомых ольховозерцев, Мирон Платоныч заставил лошадь прибавить рыси и быстро проскочил село. Дорога свернула к Свияге. Вот и пруд, которым хвалился Стрельцов. Плотина перегородила речку, что неподалеку впадает в Свиягу. Ну, пруд как пруд. «В Таборе, коли взяться, можно в Русалкином логу такой пруд соорудить — куда этой луже!» — подумал Мирон Платоныч, не без зависти оглядывая обширное зеркало водоема, обросшего по берегам осокой и ракитником.

Свернул на плотину. Чемберлен испуганно зафыркал, запрядал ушами и остановился. Потом попятился назад. Мирон Платоныч спрыгнул с тележки, прошел вперед. Вот так оказия! Вода проструила себе довольно широкую канаву и теперь, пенясь и бурля, лилась поверх плотины. Считай, через два-три часа плотина рухнет и — прощай прудовые карпы!

— Ррработнички! — рассвирепел Мирон Платоныч.— Доверь таким хозяйство. Знамя получили и про все на свете забыли...

Взяв под уздцы коня, Мирон Платоныч задним ходом вывел его с неширокой плотины, вскочил в тележку, развернулся и погнал в Ольховое Озеро. Комья грязи летели из-под копыт, иные попадали в грудь, а то и в лицо седока. А тот, отмахиваясь от таких гостинцев, бормотал себе под нос:

— Вам бы только с трибуны покритиковать да выхва-

литься, а до остального дела мало, хоть в тартарары все лети...

Подкатив к конторе правления, не привязав коня, взбежал на крыльцо, распахнул дверь и сразу увидел Стрельцова, окруженного колхозниками, знамя у стены.

— Что, все никак на знамя не насмотритесь?! — крикнул прямо в лица обернувшихся к нему людей. — Ну, досматривайте, а там пруд вот-вот вместе со всей рыбой уйдет. Вода хлещет через плотину!!!

Контора вмиг опустела. Кто побежал запрягать лошадей, кто с лопатами, вилами и носилками поспешил к плотине пешком.

Агафонов, Стрельцов и еще двое-трое вместившихся в тележку прибыли к плотине первыми. Сразу тележкой начали подвозить к прорану землю.

Работали торопливо, потому было не до разговоров. Мирон Платоныч, забрав лопату у какого-то нерасторопного парнишки, кидал землю на носилки — впору молодому. Скоро запыхался. А все же лопату не бросил, пока кто-то не крикнул:

— Шабаш, товарищи!

Подошел Стрельцов, крепко пожал дрожащую от усталости руку таборского председателя.

— Ну, спасибо вам, Мирон Платоныч! От всех наших колхозников спасибо!

— Ладно, о чем разговор, — проворчал Мирон Платоныч. — Только уж коли рыбку есть любите, так за плотиной надо следить.

— Это вы верно. Прошляпили. Может, заедете ко мне? Посидим, поговорим.

— Нет уж, поздно. В другой раз как-нибудь. — Мирон Платоныч положил в тележку сено, выброшенное, когда понадобилось возить землю, накрыл его рогожей. Сердце отмякло, отошло, зла на Стрельцова как не бывало. Сказал: — Может, вот за мальками приеду. Дадите?

— Приезжайте, милости просим. А что на совещании чуть задел — уж не взыщите.

— Ну это само собой. Будьте здоровы.

Председатели еще раз обменялись рукопожатием, и Мирон Платоныч тронул Чемберлена.

Ветер разгонял тучи, образуя обширные «окна», в которых сияли звезды. После дождя казались они еще ярче, будто их умыли.

За ивняковой чащей показались огни Табора. В селе

они еще светили тускло, а там, где строились новые дома, горели ярче самых ярких звезд.

Звезды...

Наверное, потому, что они так бесконечно далеки, люди привыкли соотносить с ними неосуществимость прекрасной мечты и недостижимость великой цели. Но прекрасная мечта Мирона Платоныча увидеть счастье труженика на земле, его великая цель — добыть это счастье были так близки к осуществлению, как будто звезды, далекие звезды, сами сошли в Табор.

Тележка ходко покатила под уклон — Чемберлен почуял родное стойло. Мирон Платоныч очнулся от дум и, как всегда после отвлеченных размышлений, улыбнулся иронически — слишком редко выпадало для таких размышлений время.

Вот и первые избы Табора. Мирон Платоныч свернул к конюшне. Все его думы были о завтрашних неотложных делах.



СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Леонтьевич
САДАЙ

ЗВЕЗДЫ СХОДЯТ В ТАБОР

РОМАН

Редактор Ю. А. Еремеев
Художники Е. Е. Михайлова, С. А. Владимиров
Художественный редактор Э. М. Юрьев
Технический редактор Г. С. Самсонова
Корректоры Л. М. Кубашина, Р. И. Крысина, А. И. Елисина

ИБ 1456

Сдано в набор 5.04.84. Подписано в печать 19.04.84. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенно-новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.-отт. 11,02. Уч. изд. л. 11,51. Тираж 70000; (2 завод 50001—70000 экз.) Заказ 2739. Изд. № 68.
Цена 90 коп.

Чувашское книжное издательство, 428000, Чебоксары, пр. Ленина, 4.
Типография № 1 Государственного комитета Чувашской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 428019, Чебоксары, Канашское шоссе, 15.

90 к.

ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЧЕБОКСАРЫ—1984

ВЛАДИМИР САДАЙ ❖ ЗВЕЗДЫ СХОДЯТ В ТАБОР